

Олег ВОРОПАЕВ*г. Новопавловск,
Ставропольский край**Те, о ком я пишу, постоянно живут во мне.***Франц Кафка***Истины нет, есть люди.***Виктор Соснора**

Сидеть в прокуренной комнате и наблюдать за отцом было нескучно. Дома он работал.

Журналист. Корреспондент районки. Мама говорила, что он мог бы стать и писателем. Но отец пил. Для полной самоотдачи писательскому труду – чрезмерно. Я понял это позднее. Материалы романа о периоде Гражданской войны в станице Государственной, ныне Советской, так и остались в его архивном чемоданчике. Несколько глав были выписаны. Под хорошее настроение отец их читал мне.

Помню, что главными героями готовых страниц, помимо простых казаков, были красные командиры – Гречухо с Кучурой, из белых – Шкуро и Покровский.

По воспоминаниям современников, там, где стоял штаб генерала В.Л. Покровского, всегда было много расстрелянных и повешенных без суда, по одному лишь подозрению в симпатиях к большевикам. Государственную он занимал не раз. Мрачный, горбо-

носый, в черкеске, с тяжёлым уверенным взглядом – таким он остался в памяти станичников.

Запомнились фотографии. Особенно В.И. Кучуры в казачьей форме, с шашкой. Он благополучно дождался до 93 лет в Пятигорске, где одна из центральных улиц носит его имя. Несколько раз отец с ним встречался. Рассказы Владимира Ивановича стали для рукописи основой.

В 1919-м командир красного партизанского отряда Григорий Семёнович Гречухо был пленён и по приказу генерала Покровского расстрелян в пойме реки Куры у родной станицы. Сам генерал пережил его на три года – в 1922-м, при попытке сопротивления полиции, заколот штыком в Болгарии.

Андрей Григорьевич Шкуро известен в военной истории тем, что в Первую мировую, в июле 1915 года, удачно применил в бою легендарную тачанку, намного опередив в использовании этой смертоносной боевой единицы будёновцев и махновцев.

Также отец описывал стремительный захват генералом-кавалеристом в 1919 году Кисловодска. Тогда по решению наспех созданного Шкуро военного суда было «уничтожено под корень» всё не успевшее скрыться большевистское руководство. В том числе известная своей беспощадностью чеки-

стка Ксения Ге и спешно доставленный из Баку комиссар Г.Г.Анджиевский, пускавшие всех нелояльных к большевикам, а с ними заодно и всех подозрительных, «в расход».

Сам А.Г.Шкуро, выданный советскому правительству английскими оккупационными войсками, по приговору Верховного суда СССР был повешен в Москве в 1947 году. Как коллаборационист и генерал-лейтенант Вермахта. Иностранное слово «коллаборационист» трактуется как добровольный пособник врагу. Тут спорно. Врагом для генерала Шкуро всегда была советская власть.

Архивный чemoданчик отца таинственным образом исчез.

Знаю ещё, что двоюродный брат моего деда, Яков Харитонович Воропаев, первый председатель Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов станицы Государственной, был порубан белыми казаками при сопровождении им обоза с зерном в город Царицын. Зерно направлялось в помощь рабочим-красногвардейцам.

Если я крутился рядом, отец, оторвавшись от работы, притягивал меня к себе за плечи с неизменным вопросом: «А-а, сынок... как успехи?» Не дослушав детские мои представления об успехах, поворачивался к столу, что-то чёркал, дописывал в лежащей перед ним стопке листов, вставляя слова сверху и сбоку. Писал он чернильными авторучками, других не признавал. Часто на внутренних карманах его пиджаков были синие и чёрные пятна. Каждый год перед отпуском отец покупал себе новый костюм.

Газета, где работал отец, называлась «Советская Печенга». Редакция её находилась в соседнем посёлке Никель. Будучи в Заполярье, собранные для печати материалы отец диктовал по телефону. При этом он часто повторял загадочное для меня слово – абзац. Абзац представлялся мне чем-то многозначительным, включающим в себя сразу несколько предложений, которые из экономии времени проговаривать было необязательно.

Поэт Александр Миланов, который в молодые годы работал с отцом в редакции той же районки, касательно абзаца поведал мне следующее. После работы выпили. Отец, чтобы успокоить маму, решил позвонить домой. Естественно, что его пытались отговорить. Однако он набирает номер и совершенно трезвым голосом выдаёт:

– Зоя, у меня всё нормально. Готовим передовицу. Задерживаюсь. Абзац!..

Зависла пауза. Потом редакторские от смеха стали сползать под стол. Миланов прокомментировал: «Такое оправдание, старик, дорогого стоит!»

Дома отец работал в белой рубашке и галстукe. Часто к нему приходили незнакомые мне мужчины и женщины. Что-то рассказывали. Он задавал вопросы, записывал, делал пометки. При посетителях никогда не говорил мне: «Выйди. Займись чем-нибудь...» Я уходил сам. В зал или в детскую. Но иногда, забившись в кресло, оставался и слушал. Говорили о цехах, о рудниках, о выплавке меди и никеля, но чаще о рабочих. О рабочих было интересно. Они работали на машинах, у плавильных печей, «выдавали руду на-гора». Слово «на-гора», как и «абзац», было занятым. Должно быть, рабочие из добытой руды выкладывали большую гору и эта гора ослепительно сверкала на солнце. Отцу нередко приносили образцы медно-никелевых камней, гладкими боковыми срезами излучавшие свечение. Он дарил их знакомым, приходившим с ним выпить.

Отец был хорошим рассказчиком, много читал, знал производство. Герои его рассказов были выпуклы и объёмны. Слушателям это нравилось. Подливали в стаканы. Смеялись.

В такие дни я устраивался в детской и ждал, когда гости уйдут. Часто отец уходил с ними. Возвращался к ночи, иногда в состоянии столь беспомощно жутком, что мне начинало казаться, что это не мой отец. Было стыдно. Без слёз, с привычной обидой сжимая зубы, я помогал ему раздеться и лечь. «А, сынок... как успехи?» – выдавливал он. Я молчал.

Обычно к этому времени мама была уже дома. В зале или на кухне готовилась к урокам. К пьяному отцу она подходила редко, на вопросы его отвечала односложно или не обращала на них внимания. Мама всегда была сильной. Мрачная безысходность темнела в её глазах. А я... я просто старался пораньше лечь спать.

Утром отец мучительно приходил в себя. Ждала работа. С утробными выдохами он забирался в горячую ванну. Тщательно брился. Облачившись в белую рубашку, с жадностью выпивал две-три кружки ледяного молока.

Молоко было скрытой заботой матери об отце. Узнав, что отец задерживается или ушёл с приятелями, она отправляла меня в гастроном с нашим нестандартным четырёхлитровым бидоном под молоко на розлив.

Часам к девяти, чисто выбритый, отец сидел за столом, делал пометки, куда-то звонил. По тяжёлому взгляду я догадывался, что ему всё ещё дурно.

Похмелялся он редко, но в выходные – как правило. В такие дни мама тащила меня в гости или в кино. Иногда мы смотрели два или три фильма подряд в разных кинотеатрах.

То, что отец пьёт, мама никогда и ни с кем не обсуждала. Если женщины с такими же выпивающими мужьями намекали на эту его «слабость», она сухо отвечала: «Посмотрите на своего».

В молодости отца она любила. На старых фотографиях, где они вместе, в глазах её искорки счастья.

Не то чтобы отец был красив, но природное обаяние его било в десятку. Тяжёлый подбородок не портил. Он нравился женщинам. В застольных компаниях внимание их было заметно.

Как-то старшему брату знакомый мальчишка сказал, что видел, как дядя Володя заходит к его соседке. Размазывая слёзы, Игорь побежал домой и с ходу «обрадовал» маму.

– Успокойся, сынок, – сказала она, – твой папа самый лучший, и к женщине этой он просто зашёл по делу.

Отец никогда не показывал, кто из двух сыновей ему ближе. И всё же для меня его большее расположение к брату было бесспорным.

Однажды, увидев Игоря с сигаретой, я рассказал об этом отцу. Сурово взглянув на меня, он сказал:

– Знаешь, сын... доносчику первый кнут. Но теперь уж...

Брат (тогда ему было двенадцать лет) наказан был в тот же вечер. Стоя в углу, он плакал, потирая «приложенные» отцовским ремнём места. Когда я по-детски неумело решил его пожалеть, он, оттолкнув меня, крикнул:

– Уйди, предатель!

Быть предателем было очень горько, и мы зарыдали вместе.

Сам отец курил много, стиснув зубами фильтр, длинными затяжками заполнял лёгкие дымом. Две, две с половиной пачки в день.

Когда он работал, левая рука его с дымящейся на отлёте сигаретой локтем упиралась в стол. Пепельница быстро переполнялась окурками. Опорожнив и тщательно вымыв, отец аккуратно ставил её на место.

Любовь к чистоте и порядку была у него от долгой службы на флоте. О семи годах этой службы он вспоминал нечасто. На фотографиях в матросской форме сиял улыбкой. Мой детский взгляд невольно выделял его из общей массы таких же «расклеванных и бескозыристых» моряков.

Однажды с корабля его смыло волной. Ночью. Оказавшись в холодном бушующем море, он дико кричал, но крейсер, светясь огнями, шёл дальше. По счастью, падение его кто-то заметил. Огромную военную машину развернули назад. Лучи прожекторов ударили в воду. Слеплённый светом,

отец хрипел. Сил уже не было. Долго спускали шлюпку. В шторм не каждый капитан на это решится. Повезло. Спасли. Памятью о том случае осталась лёгкая хрипотца в голосе, делавшая его легко узнаваемым, отличным от всех других.

На крейсере отец выпускал газету. Если боевой экипаж превышал пятьсот человек, газета была штатной необходимостью.

В свидетельстве об окончании ФЗУ у отца прописано: печатник-наборщик. Но именно на флоте он стал профессиональным газетчиком. Журналистом. Так как материалы несли неохотно, а командование выпуска газеты требовало в срок, волей-неволей матросу-печатнику приходилось набивать руку в заполнении пустующих площадей собственными статьями: о жизни экипажей, о боевых дежурствах, о море...

Крейсер был флагманским, и переменявшуюся газету не мог не заметить командующий флотом адмирал Головкин. Побеседовав с отцом, он заключил:

– Парень ты способный. Тебе учиться надо.

С тех пор «старший морской начальник» нередко вызывал штатного редактора к себе, указывая, каким он хотел бы видеть следующий «боевой листок».

Командующий Северным флотом в годы Великой Отечественной войны, адмирал Арсений Георгиевич Головкин, без преувеличения, был личностью легендарной.

Однажды, уже как депутат Верховного Совета, в самом начале шестидесятых заехал он в наш Заполярный. Отец, устроившись в первом ряду, записывал. Своё выступление Головкин завершил фразой:

– По существу у меня всё... А вы, товарищ Воронаев, – рука с адмиральскими нашивками вытянулась в сторону неприметного человека с блокнотом, – пожалуйста, задержитесь.

Поздоровавшись, расспрашивал о том, как сложилась судьба «матроса-редактора» после службы – где работает, учится ли. Отец тогда был студентом-заочником факультета журналистики Высшей партийной школы.

– Что учишься – хорошо, – крепкое рукопожатие. – Тебе расти надо.

– Вы что... знакомы?... – оторвавшись от окружавшей адмирала толпы, зашипел первый секретарь райкома. На заседаниях «актива» отцу нередко от него доставалось за несогласованные острые публикации.

– Служили вместе, – усмехнулся отец.

Заполярный моего детства – городок маленький, на плоскости северной лесотундры сотня пятиэта-

жек, из любого конца в конец ходу двадцать минут, не больше. Четыре школы. Шесть детсадов.

В одной из школ (девятой) работает мама. Игорь учится там же. Я – обитатель детского сада. Между первым и вторым этажами этого здания гипсовые барельефы зверюшек – медведи, олени, слоны... Из окон нашей квартиры они легко различимы.

Однажды, отпросившись во время тихого часа в туалет, я влез на подоконник, настезь открыл фрамугу и стал размахивать руками, в надежде, что кто-то из семейства меня заметит. Заметил Игорь. Выйдя на балкон, он начал что-то кричать. Обрадовавшись, что меня узрели, я запрыгал от счастья так, что едва не вывалился наружу. Второй этаж, сосульки метровые с крыши – хватай, не хочу! Тут до меня донеслось слово, выдохнутое братом, видимо, громче других – «Ду-урак!» Обидевшись, я вернулся к своей кровати и, укрывшись с головой, пролежал так до конца тихого часа, представляя себе, что умею летать и что если бы выпал из окна, то непременно взлетел бы.

На следующий день мы с братом слегли. Температура. Мама вызвала доктора.

– Сговорились вы, что ли?

После ухода врача Игорь со всего маху треснул меня подушкой. Потом ещё... и ещё... Увернувшись от очередного удара, я ринулся в бой. Силы были неравные, схватка короткой. Навалившись на меня всем телом, Игорь зажал мою голову так, что я едва мог дышать.

– Клянись, что больше не будешь!..

– Чего не буду? – хрипел я.

Тогда он перекрыл мне дыхание полностью.

– В окно вылезать, вот что! Клянись! Ну, быстро! – видя, что глаза у меня почти закатились, он ослабил хватку, но ровно настолько, чтобы я мог что-то сказать.

– Пусти, слышишь... клянусь! Пусти!

Удовлетворённо хмыкнув, Игорь поднялся. Сделав несколько жадных вдохов, я вполз на свою койку и отвернулся.

Обидно. Он просто не знал, что, выпрыгнув из окна, я взмыл бы в небо.

С мамой выходим из дома. Перед глазами поляна, за ней обгорелый лес. На поляне представляю избушку на курьих ножках. Мама хватается за руку и куда-то тянет. До этого несколько дней подряд читала мне русские сказки. Мне года четыре. Спрашиваю:

– Мам, а Баба Яга людь?

– Не пойму, ты о чём?..

Вырываю руку:

– Нет, ты скажи – Баба Яга людь или не людь?

– А! Понятно, – смеётся. – Людь, ещё какой людь. Только злой, нехороший.

Ловит мою ладонь:

– Быстрее. Опаздываем.

Перепрыгивая через лужи, что-то начинаю рассказывать про себя, брата Игоря, про Бабу Ягу и чёрного её кота. Мама останавливается. Игорь и Баба Яга не совмещаются:

– Ты о чём? Врёшь, что ли?

– Влю.

Снова улыбка:

– А зачем же ты врёшь?

– Так, влю и всё.

Мама много читала мне в детстве. Особенно сказок. Недочитанное додумывалось.

В автобусе или в машине я обычно устраивался у окна и, как только трогались в путь, начинал петь. Чаще о том, что мелькало перед глазами: деревья, собаки, дома, облака... Иногда получалось складно, иногда не очень, но всегда громко. Люди посмеивались. Игорь толкался. Вероятно, движение и постоянная смена пейзажей пробуждали во мне желание как-то высказаться.

Спеть – проще.

В свободное время отец учил меня играть в шахматы или читал вслух. Литературные пристрастия его разнообразием не отличались. Из поэтов выделял Есенина и Маяковского. Из писателей Горького, Шолохова, Ильфа и Петрова, Гиляровского. Из иностранных авторов Нушича и почему-то Мопассана.

На шахматном поле, умышленно «сдавая» крупные фигуры, разъяснял мне силу или слабость той или иной позиции. Подсказывал. Направлял. На самом деле играл он цепко. Проигрывая серьёзному противнику, нервничал. Долго думал. Голос его начинал вибрировать резко, даже злобно: «Взялся за фигуру, ходи! Факт!» Переломив ситуацию на доске, оживлялся, иронично бросая: «Ага-а!.. А мы вот так!»

Дядю Костю я увидел в пять лет. В Феодосии. Младший брат деда. Лысый, широкой кости, крепкий. Как все Воропаевы – балагур. Если рассказам его не хватало слов, он заменял их жестами и междометиями, отчего они становились ещё более яркими. Иногда дядя Костя отстёгивал от висящего в шкафу морского парадного кителя кортик и давал мне его подержать. Отец тут же нахлобучивал на мою остриженную голову огромную дядькину фуражку с блестящим козырьком и под общий хохот фотографировал. Фуражка неизменно съезжала набок, но чувствовал я себя настоящим морским волком.

На кителе у дядьки – боевые награды. Комендором, то есть корабельным зенитчиком, он воевал на Каспии. Сбивал немецкие самолёты. Рассказывал, как в войну «ходили в Персию за удовольствием». Прикрывали огнём караван транспортников. За этот поход он был награждён орденом Красной Звезды.

После войны дядя Костя, как командир боевого катера, служил на Черноморском флоте. В шестидесятых годах обеспечивал тренировки «приводнения» первых космонавтов. Юрия Гагарина среди них уже не было, но Титов и Леонов были. Тогда я в этом мало что смыслил, но слово «космонавт» завораживало. Все мои сверстники мечтали быть космонавтами. Отец слушал рассказы дядьки внимательно, что-то записывал.

У Константина Ивановича две дочери – Надежда и Ира. Двоюродные мои тётки. Надежда жутко взрослая и ответственная. Мама, заболтавшись с женой дяди Кости, Ниной Васильевной, заботам её поверяла меня с лёгким сердцем.

Судя по фоткам, я был кожа да кости – готовый экспонат для фильмов об измождённых узниках.

Помню, как Надежда отчитала меня за то, что на пляже я залепил окаменевшей хлебной коркой в лоб симпатичной девчонке, не выказавшей мне достаточного внимания. Обидевшись, я гордо бродил по горло в волнах, желая всем назло утонуть. Утонуть не дали – отшлёпали и отлучили от моря.

У девочки этой было редкое заболевание, по иронии судьбы поразившее меня позже.

Второй раз мы с мамой появились в Феодосии в 1979-м. Мне было уже пятнадцать. Надя к тому времени уехала в Красноярск, где вышла замуж за сибирского художника Вадима Елина. Вадим был первым портретистом, написавшим молодого Владимира Высоцкого. Во время съёмок фильма «Хозяин тайги». Рисунки вышли своеобразные и очень живые.

Дядя Костя всё ещё командовал своим катером, и виделись мы с ним только по вечерам. На море выбирались с Ириной и Ниной Васильевной.

– Смотри! – подзывает на пляже Ирина.

Прямо перед ней уткнулся носом в песок кавказец. Жирно татуированное плечо: «Не забуду мать родную!» Снизу приписка – шрифтом уже потоньше: «и отец!»

– Никого не забыл! – задыхнулась от смеха тётка.

Невольно и я хохотнул.

– Завидно, да? – глянув на нас исподлобья, кавказец присыпал плечо песком.

Тайком приоткрывая шкаф, я доставал кортик. Страсть к холодному оружию у мужчин – вне возраста.

Дядя Костя за ужином рассказывал много интересных историй о морской жизни. К сожалению, по прошествии лет я почти ничего не помню. Но впечатление от сочного грубоватого языка осталось.

Константину Ивановичу было уже шестьдесят. Каждое утро в пять часов он бегал на ближайшую гору. Там делал зарядку, по-медвежьи поднимая над головой и швыряя как можно дальше огромные камни. Вероятно, могучий его организм требовал постоянного физического напряжения.

С тётушкой Ирой болтали часами. Девушка она была ироничная, начитанная и очень милая.

«Сураз» Василия Шукшина первый раз я услышал в её пересказе. Тема зацепила.

На стареньком магнитофоне слушали Высоцкого. «Там, у соседа, пир горой и гость солидный налитой...» «Я в этот день не пил, не пел...» «Баллада о детстве»...

Я вырослел по часам. Море, горы, красивая женщина рядом. Пусть даже тётка.

Мальчишеский мир Заполярного жёсткий. С авторитетом – на кулаках.

Трусов и слабаков отторгали. Провоцировали на драку, тут же для смеха подменяя партнёра на более сильного.

И всё же дворовый неписанный кодекс был. Старшие не трогали младших, если те, конечно, не зарывались. Бились, как правило, один на один – до первой крови, до «отрубона» или пока противник не попросит пощады. Достать во время драки кастет или нож – последнее дело. Само слово «драка» презрительно не признавалось. Говорили: «махач». «Помашемся?!», «помахаемся?!» – зазывали на поединок. Не принять вызов означало скатиться к трусам.

Хлюпик, дающий пинка изначально более сильному мальчугану, чаще всего – провокатор. Крепкие переростки, подначивающие мальчика для потехи, где-то рядом. Давший отпор – потенциальная жертва. Таких отлавливали и отдавали на растерзание тому же хлюпику. Потом, покуривая в сторонке, степенно подсказывали, как и куда ударить.

Во дворах среди подростков и более взрослых парней просматривалась своеобразная иерархия. Существовало даже такое понятие, как «король города». Не помню, чтобы кто-то носил этот титул определённо. Но время от времени несколько крепких ребят хотели, чтобы их именовали именно так. Заполярный мал, и друг друга они, как правило, хорошо знали. Однако, встречаясь на танцах в ДК, выяснять

отношения на кулаках не спешили. По-королевски вальяжно в каком-нибудь тёмном углу «глушануть» портвейну – другое дело.

Высокую ступеньку в неписаной табели о рангах кулачных бойцов занимал Сергей Родионов по кличке Радя. Проживал он в соседнем доме. На Ленина, 17. Крупный, красиво сложенный, дерзкий.

Авторитет свой Радя поддерживал следующим образом: встретив агрессивную ватагу и высмотрев в ней жоака, резким, почти без замаха ударом ронял того наземь. И сразу – другого... Уцелевшие разбегались. Нокаутировал он с обеих рук, что даже в профессиональном боксе – редкость. Не исключено, что советский спорт потерял в лице Родионова выдающегося боксёра.

Зная неравнодушие Радика к «махачу», дворовые «шестёрки» нередко его подзуживали.

– Серёг, Серёга, а Юханта уронить слабо?

– Кто сказал?! – выдох сигаретным дымком.

– Ты... ладно... ты это... не кипятись, – Валька Чиранцев по кличке Рыжий тут же перевёл стрелки, – Воропай вон говорит... слабо, мол... Юханта тебе уронить? А?..

Валька кивнул на Игоря. Под взглядом Родионова брат мой побелел и вытянулся в струну.

– Нет, ты прямо скажи – слабо или нет? – не унимался Рыжий. Он хорошо играл на гитаре, и многое ему прощалось.

Васька Мельников, за внешнее сходство со шведским хоккеистом Тумбой-Юхансоном прозванный Юхантом, не подозревая о готовящейся против него подлянке, спокойно покуривал на приступке соседнего подъезда. Это был добродушный крупный детина, метра под два ростом и со сложением борца-тяжеловеса. Злобно усмехнувшись, Радя крикнул:

– Эй, Юхант, иди сюда! Дело есть.

Отбросив сигарету, тот подошёл и тут же, получив прямой удар в подбородок, осел в грязь. Короткий, мучительный выдох его схож был со стоном быка, которому забойщик бьёт молотом в лоб.

– Ну что? – хрипло спросил Родионов, по-рыбы немигающими глазами оглядывая толпу.

Длинно сплюнув сквозь зубы, он удалился.

Оживлённо обсуждая «мягкую посадку» Юханта, ватага наша переместилась в подъезд. Мельников, упёршись в землю руками, остался сидеть.

Сергей Родионов, Радя – уверенная походка, чёрные в клёш брюки, куртка на молнии с клёпками... Как же всем нам, мальчишкам, хотелось скорее вырасти, чтобы стать такими же сильными и бесстрашными. Курить, материться и сплёвывать через зубы.

Но есть у боксёров поговорка: «Кто сильно бьёт, тот сильно падает». С Радей история приключилась следующая.

Подъезд наш всегда был местом сборищ подростков. Набивались сюда, как в своеобразный клуб. Курили, играли в карты, боролись... Тут же обсуждались последние фильмы, новинки рок-музыки, разбирался по косточкам чей-нибудь «махач» и прочие происшествия.

Если Валька Чиранцев выносил гитару, вообще не протолкнуться было. Тут же появлялись девчата. Естественно, что мальчишки начинали при них петушиться, но речь сейчас не об этом.

Как-то играли в карты. Неиграющие подсказывали. Толпились. Карты были с голыми женщинами. Это понятным образом вдохновляло. Родионов возник неожиданно. Он нечасто заходил в наш подъезд, но сегодня, похоже, деть себя ему было некуда.

– Что, гниды, не ждали?!

Заметив нас с Игорем и татарина Равиля Сейфетдинова со второго этажа, он продолжил присутствие:

– А, шалопаи-воропаи, сейфетдины... (далее непечатное).

Алкоголем от него несло не хуже чем от винного прилавка.

– Дай сюда, морда ржавая! – потянул он на себя карты одного из игроков.

Кто-то подобострастно хихикнул.

– Ха! Порнушка!.. И остальные сюда! Что, непонятно?

– Радя, это мои карты, – поднялся Равиль. – И ты...

Два коротких тычка усадили смельчака на место.

Почувствовав движение за спиной, я обернулся. Кореец Лёнька Ли с площадки первого этажа поднимался к картёжникам. В движениях его всегда было что-то кошачье, а в жёлтых неторопливых глазах жила такая уверенность, что даже серьёзные любители кулачных баталий никогда его не затрагивали.

– Слышишь, Родион, карты отдай пацанам.

Радя швырнул картинки на кафедру, растерев их остроносом ботинком, как раздавливают окурки. Толпа расступилась.

– Предположим, вот так! Что дальше?

– Смотри внимательно, – улыбнувшись уголками губ, Лёнька крутнулся юлой и вдруг, с невероятной силой выбросив ногу, ударил Родионова каблуком в челюсть.

Радя рухнул. На кафедре зачернела кровь.

Как поднимался и как уходил «гроза авторитетов», из памяти выбило. Через несколько минут на площадке остались лишь мы с братом да ещё человека три.

Показав ряд жёлтых, как кубинский сахар, зубов, Лёнька хлопнул Игоря по плечу:

– Не ссы! Он давно выпрашивал. Да не трясься ты так! Найдёшь меня, если что. Понял?

Игорь кивнул.

С корейцами мне приходилось общаться ещё не раз, но случай один был свойства особого.

Как-то мы с мамой сели в рейсовый пазик «Георгиевск – Новопавловск». Детская болезнь моя обострилась, и я перемещался на костылях. В автобусе все места были заняты корейцами. В 70-е годы на Ставрополье, арендуя земли у колхозов, они занимались разведением арбузов и лука. Им почему-то разрешалось, русским и прочим – нет. Такие вот гримасы политики. Естественно, что корейцы богатели. В народе по этому поводу ходила шутка: «Надо же, такой маленький, а уже кореец!»

Забравшись на сиденья с ногами и выставляя поочерёдно то одну, то другую, луководы степенно очищали их от полевой грязи. Нас они тактично не замечали. Автобус трясло. Русская беременная женщина, усмехнувшись, уступила мне место. Её трёхлетняя дочь примостилась у меня на коленях.

Мама молчала. Прижав к себе костыли, она смотрела прямо перед собой. Похоже, за полеводов ей было стыдно.

В дворовых кулачных баталиях младшие братья поддержку старших обычно чувствовали. Я – нет. Игорь не вмешивался. Впрочем, стравливая меня со сверстниками, победам моим он искренне радовался. В случае поражения показывал, где и на чём меня «подловили». Попытки пустить слезу пресекались: «Солдаты не плачут!» Зная всё это заранее, биться мне приходилось отчаянно. Вмешался бы Игорь, если бы меня добивали? Не знаю. Случая не было.

Позже, в студенческие и более зрелые годы, я был ему благодарен. Он научил меня не бояться противника, держать удар и биться в атакующем стиле. Энергия боя у меня была бешеная. Но и «падать» приходилось, конечно. Всякое было.

Нешуточным впечатлением детства был «махач» с мальчишкой из соседнего подъезда, Дергачёвым Мишкой.

Прозвища в нашем дворе чаще всего были производными от фамилий. Мы с братом, к примеру, Воропаи, Кацко – Кацухи, Слепухин и Петруненко соответственно – Слепой и Пэтрик. Случалось, однако, что прозвища с фамилиями не вязались. Происхождение их так и осталось для меня загадкой. Так, Юрку Катулевича называли Курепой,

Андрюху Зуева – Балой, Серёгу Мельникова – Курвистом, братьев Ефимовых – Стручами старшим и младшим. Азата Сейфетдинова из многодетной семьи татар – Клипой.

Помимо того, что братья Дергачёвы, Валерка и Мишка, были Дергачами, у Мишки имелось ещё и прозвище собственное – Кабан. Был он шустр, крепок. В компании мог и ларёк «подломить». На стройке пошухарить, звонок в школе дать посередине урока – ну так... и это как «здрасьте».

Год 2003-й. Очередной мой приезд в Заполярный. Отпуск из полувоенного Грозного. Мишка Дергач – хозяин. Я – гость. Нам по сорок. Говорим о товарищах детства, общих знакомых. Многих из них уже нет...

С удивлением узнал я, что Михаил пишет. Имеет публикации. Два или три рассказа – в столичном журнале (забыл название)...

Местом мальчишеских наших забав был район гаражей или, как мы их называли, «сарак». Взобравшись на крыши этих разномастных сооружений, мы играли там в «ляпы». Толкались, срывались, кровавые носы и губы. Карабкались снова.

Сразу за сарайками тянулись горячие, обёрнутые стекловатой и рубероидом трубы. В город через них струилось тепло. За трубами лес – калечные полуживые деревья, торчащие из буро-дымящегося местами торфяника.

Здесь и произошла наша с Мишкой стычка.

Вначале, что-то не поделив и потолкавшись для виду, мы разошлись. Но старшим нашим братьям, Валерке и Игорю, исход такой показался скучным. Образовался круг. Нас вытолкнули в середину и стали подзуживать.

– Не трусь, Миха! Ну! Врежь! – махал кулаками Валерка.

– Давай, Мязя, давай!

– Воропай, не бойсь! – вторила моя «партия». – Заряди ему!

– Бей! Не позорься! – толкнул меня Игорь.

Не помню, кто внял подстрекателям первым, я или Мишка, но «махач», к их общему удовольствию, начался. Осыпая друг друга ударами, перемазанные грязью и кровью, мы падали и вновь поднимались. В ушах у меня звенело, в носу клокотало и булькало... Крики болельщиков гулкие – будто сквозь вату:

– Мязя! Мязя! Кабан! Покажи ему кабана!..

И Мязя решился. Нагнувшись, он ринулся на меня головой вперёд. Увернувшись, я что было силы ударил его коленом в лицо. Взвизгнув, он завалился набок. Я кинулся добивать, но меня оттащили.

Игорь по дороге домой не скрывал радости:

– Вот! Так и надо! Никого не бойсь! Бей! Куда попадёшь, бей!

Несмотря на заплывающие глаза и разбитые губы, было радостно. Мишка – соперник серьёзный, и не ошибись он...

В коридоре отец долго вглядывался в мою опухшую физиономию.

– Хм... Весело! – наконец заключил он. – Не тошнило?

– Нет.

– Пап, – вклинился Игорь, – он честно... Один на один... Он победил!

– М-м-да... Победителей не судят, конечно... Иди умывайся, – отец улыбнулся. – Владычица расстроится. Факт!

Увидев меня, мама напустилась на Игоря:

– Куда ты смотрел?! Неделю на улице ни ногой! Оба!

Детская память незлобна, и с Мишкой мы вскорости помирились. Только в футбол вот... в команде одной... уже не играли.

Семи лет, летя на санках с горы, я ударился ногой об угол дома. Травма оказалась серьёзной. Хирурги заполярненской больницы, разглядывая кипу рентгеновских снимков, терялись в догадках. Отсутствие диагноза прикрывалось фразой: «Мальчик симулирует. Перелома нет. Может быть, в школу ходить не хочет?»

В школу я ходил, преодолевая боль. Но хромота с каждым месяцем становилась сильнее. Мама плакала. В отчаянье говорила отцу: «Володя, сделай же что-нибудь!»

Чувствовать щекой мокрое родное её лицо было невыносимо. С братом мы знали: мамыны слёзы – крайность, беда...

В следующий раз в больницу со мной пошёл отец.

– Патологии не вижу, – в очередной раз перетасовав «рентгеновские кости», сказал доктор.

– Не видите! – взорвался отец. – А я вашу патологию вижу прекрасно – профессиональная деградация!

Скандал продолжился в кабинете у главврача. Встретив жёсткий отпор, отец схватил стул и с маху ударил им об пол. Одна из ножек рикошетом от потолка упала на начальственный стол. Пригрозили милицией. Отец ответил, что даст соответствующий материал в центральную прессу и добьётся проверки, требовал немедленного направления в областную клинику.

– Подождите, – главврач примирительно выставил руку. – Направление дадим.

В Мурманск возила меня мама. Областной хирург осматривал долго. Несколько раз заставил пройти из угла в угол, вращал и выкручивал но-

ги, спрашивал – где больно, где нет. Записывал. Измерял. Рассматривал снимки.

– У вашего сына редкое, почти не поддающееся лечению заболевание.

– Какое?

– Болезнь Пертеса. Разрушение и, если больной продолжит ходить, постепенное стирание головки тазобедренного сустава. После завершения процесса роста, лет в двадцать, сустав теряет способность к движению окончательно. Шаг осуществляется корпусом... ну... или на костылях.

– И что же?! Что делать?!

– Ищите соответствующий санаторий. На всю страну их, может быть, два или три. Попасть туда почти невозможно. И ещё... мой долг сказать вам правду – выздоровевших, то есть не хромающих людей, с этим диагнозом я не видел.

Расстроившись, мама вышла на улицу в больничных бахилах – синих, огромного размера. В них же села в троллейбус. Потом уже, после замечания кого-то из пассажиров, сняла.

Разговор с хирургом она передала отцу. Тот сник. Стоя у окна, долго курил. Потом позвал меня.

– Сын, похоже, болезнь твоя – на всю жизнь, – он положил мне на плечо тяжёлую, пропахшую табаком руку. – Будь мужественным. Нельсон, к примеру, тоже хромотал... да мало ли кто ещё...

– А кто такой Нельсон?

– Адмирал такой был. Английский. Выдающийся адмирал.

– Пап, а адмиралом я смогу стать?

– Хм... Едва ли... Зачем тебе это?

– Жаль. Адмиралом хотелось бы.

Детскому уму хромота не казалась каким-то серьёзным, коверкающим судьбу явлением. Интуитивно я понял – отец сдался. Почувствовав неспособность переломить ситуацию, отступил.

Не сдалась мама: постоянно куда-то звонила, писала письма, раза два или три возила меня на повторные обследования.

В конце концов, нам дали путёвку в областную детскую спецбольницу. Располагалась она на берегу озера Имандра. В посёлке с экзотическим названием – Африканда.

В больнице меня сразу же привязали к кровати, запретив подниматься.

– Какие гарантии, что сын мой выздоровеет? – в один из приездов спросила мама лечащего врача.

– Никаких, – пожал тот плечами. – Постельный режим ребёнок ваш нарушает регулярно – развязывает фиксатор, ходит.

Так и было. Младший медперсонал на нарушении постельного режима детьми смотрел снисходительно.

– Всё ясно. Сына я забираю.

Отец взял отпуск, поехал в Мурманск и вернулся оттуда с направлением в детский костно-туберкулёзный санаторий имени Боброва.

– Бобров – хорошая фамилия. Спортсмен такой был – Всеволод Бобров. Футболист-хоккеист. Универсал! Крым! Алупка! Не Африканда какая-то. Факт! – шутил отец.

Воспрянув духом, он бросил пить.

– Пап, а универсал – это кто?

Вставить мне не разрешали. В квадрате окна я видел лишь крышу соседней пятиэтажки с чёрными над ней проводами.

– Универсал? Хм... Это, сынок, человек, который... сразу в нескольких направлениях работать может. Профессионально работать.

– Как Всеволод Бобров – и в футбол, и в хоккей. А кто ещё?

– Ну-у... Вот... батька, к примеру, твой. В газетном деле – наборщик, печатник, корреспондент, корректор, фотокор, ну и... редактор, конечно, – в одном лице. Сечёшь?

– Ого! – слова мне были малопонятны, но гордиться отцом хотелось.

В Крым ехали поездом. С пересадкой в Москве, четверо суток.

В санатории женщина в приталенном белом халатике сдвинула направление к краю стола:

– Это не путёвка. Это всего лишь на-пра-вле-ни-е! Получайте путёвку, тогда примем.

– Вы знаете, откуда мы ехали... с больным ребёнком тряслись?!

– Не вы одни. В конце концов, позвонить могли. Разъяснили бы вам, непонятливым, разжевали...

– Сколько же это займёт? Год-два?... Может, и вообще никогда! Вы понимаете? – хрипло спросил отец.

– Понимаю, – отодвинувшись от стола и закинув ногу на ногу, дама в халатике закурила. Ноги у неё были красивые.

– Болезнь примет необратимую форму! – отец был в полушаге от вспышки ярости.

– Я не доктор. Я всего лишь... администратор... Чего вы от меня хотите?! У меня приказ!

– Не доктор?! Ну, так-х... халат снимите, хотя бы... мать вашу!.. если не доктор!

Шея и лицо администраторши покрылись бурыми пятнами:

– Хам!

Отец (не знаю, как он выдержал этот выпад) потянул меня к выходу.

В санаторий меня всё-таки взяли.

Дело в том, что старшей сестрой-хозяйкой работала там двоюродная сестра моей мамы – Лапшина Надежда Фёдоровна. Это был козырь в рукаве. С отцом они отправились к главврачу. Тот, улыбнувшись тётушке, поставил на направлении резолюцию – «принять».

На общих основаниях, как мыслил отец, не вышло.

Неделю держали меня в изоляторе. На жёсткой каталке возили в рентгенкабинет. Обследовали. Посещения были под запретом, но отец ежедневно приходил к окну, за которым покачивал ветками сад – миндаль, кипарисы, магнолии, пальмы... Роскошество зелени. Отец припоминал что-то забавное. Смеялись. Я задавал вопросы. Возраст вопросов. Отец отвечал основательно. Но если чего-то не знал, говорил прямо. Обещал порыться в библиотеке. Несколько дней, когда мы были близки. Он не отдался работой, не пил, всю энергию отдавая устремлению моего лечения.

Когда отец уходил, я долго смотрел в окно... За ветками магнолий и пальм плавилось солнце.

– Сын, тебя будут готовить к операции.

По сдержанным сосредоточенным движениям я видел, что отец нервничает. Он редко называл меня по имени. Касаясь серьёзного – никогда.

– Я уже дал согласие. Подписал бумаги. Есть шанс, что сустав восстановится и хромоты не будет. Пятьдесят на пятьдесят... Врачи не скрывают... Ты растёшь. Это наш главный козырь. Факт! Иногда и рискнуть надо. Ты сам-то как думаешь?

– Согласен, пап.

Впервые он разговаривал со мной как с равным.

Потом уже я узнал, что ведущий хирург санатория по фамилии Крейда операции детям с диагнозом «пертес» делал полулегально. Минздрав разрешения не давал. Но доктор писал диссертацию, скальпелем за операционным столом доказывая свою правоту.

За день перед операцией есть запретили. Пить – только воду со слабым раствором глюкозы.

Потом... ослепили светом, надели маску с гофрированным серым шлангом. Такой же я видел на фото – у Юрия Гагарина.

– Представь себя космонавтом.

Вдыхая пьянящий подслащённый воздух, представить можно было всё что угодно.

Последствием общего наркоза была двухдневная рвота – жёлтой, ядовито пенящейся жидкостью. Лежать можно было только на спине, пульсации боли в

ноге порой становились настолько острыми, что я начинал тихонько постанывать. Отец был рядом. Рассказывал о своём детстве. Об оккупации. Умышленно ли, по рассеянности? – принёс мне две книжки сказок на украинском языке. Читал я, как ни странно, всё почти понимая.

– Это в крови, – смеялся отец, – дед твой по матери хохол чистый. Фамилия – Бородуля. Сечёшь? Предки его, по семейному преданию, ещё в Запорожской Сечи казаковали. И по моей линии – казаки. Терцы. Так что ты казачура тот ещё...

– Пап, а терцы – кто? – любопытство притупляло боль.

– У-у... – отец оживился. – Терцы – это те казаки, что по Тереку селились. В покоях у самого императора стояли. Охраняли. Дед твой, Василий, добрый казак был. Подтянет, бывало, меня за ухо, плетей всыплет. «За что?» – кричу. Обидно до слёз. «Так! – говорит. – Наперёд, значит! Наука тебе!» Лыс, невысок, но руки крепкой. Нраву бешеного. Как поперёк ему что, глазами, бывало, поведёт только, бабушка Варя твоя в панике – чуть не под стол лезет. А она-то уж десятка неробкого, сам знаешь.

То, что бабе Варе палец в рот не клади, не то что мне – всей станице Советской (Государственной в прошлом) известно.

Что касается деда... Судя по старым фотографиям, где он в черкеске с шашкой и газырями, дед воёвал. Где? за кого? на каких фронтах? – неизвестно.

Жаль, и вот почему...

Попал я как-то в компанию станичных долгожителей. Всем им за девяносто уже.

– Чьих будешь?

Услыхав фамилию, переглянулись.

– Васьки унук? Воропая?

Я кивнул.

– Ох, и рубака был! От Бога! А пел да танцевал так, что ростом хоть и не вышел, а молодуху, какая глянулась, с гулянки брал да в степ уводил...

«Степь» была у них без мягкого знака.

От них же узнал я, что дед мой в тридцатые годы за кражу коней попал под следствие. Вину не признал. Отрицал всё. Били нещадно. Домой привезли на телеге – ничком. Вскорости умер. А кони нашлись. По первому снегу вернулись.

Вспышки ярости у отца и собственные мои плохо мотивированные поступки в характер нашего общего предка укладывались теперь легко. «Кровь! – усмехался отец. – Куда от неё?..»

Позднее отец рассказал мне вероятную историю появления нашей фамилии.

Известно, что Воропаевы проживали в станице Государственной с её основания. То есть с 1777 года. Но так ли это? Заселялась станица, как один из

форпостов Кавказской казачьей линии, по указу императрицы Екатерины крестьянами из средней России. Преимущественно из губерний Воронежской и Черниговской.

Слово «воропай» по словарю Даля восходит к древнерусскому – «вороп». Что означает «налёт, набег, натиск, грабёж, разбой». Станица же Государственная (ныне Советская) возникла, как это часто бывало, не на пустом месте. Несколько десятков дворов выходцев из яицких казаков проживали на этой излучине реки Куры вполне самостоятельно и воинственно. Селение их даже имело своё наименование – Преображенское – Преображенка. С каких времён яйцкие казаки там появились – уж бог весть.

Вот и сдаётся мне, что прозвище «воропай» – разбойник, налётчик, грабитель – корней скорей уж казачьих, нежели крестьянских. Тем более, как я позже узнал, на Урале (Яике) фамилия Воропаев не редкость.

Во время операции я потерял много крови. Донором стал отец. Вторая группа с отрицательным резусом – редкость.

Врачам он поставил «магар» – коньяк, конфеты, шампанское. «Ну что вы?.. Не надо... Ну что вы?..» Но взяли.

Впереди меня ждали два года больничной койки.

Кости растут медленно. Даже детские. Мама и отец, намеренно разделив отпуска, приезжали ко мне по очереди, дважды в год.

Весна 74-го. Мне уже десять. Первые неуверенные шаги... Сердцебиение! Костыли. Эйфория! Ни с чем не сравнимое счастье – ходить!

Забирала из санатория мама. Досрочно.

За месяц до этого, начитавшись книжек о путешествиях, я сбежал. Конечно, это был никакой не побег. Лишь несколько часов кровать моя с кроватью моего товарища по детскому приключению – Даудова – пустовали. Даудова я называл Пятницей. Он не обижался, хотя говорил иногда, что Вторником было бы лучше. Пятница всё-таки женщина.

Ночью, спустившись к морю, мы долго брели по гальке в поисках хоть какой-нибудь лодки. Без лодки, даже самой задрипанной, стать открывателями неведомых островов шансов не было. Неожиданно пошёл дождь. Укрывшись под скалой, мы сразу же съели весь наш запас заготовленных сухарей и подсушенного куриного мяса.

Так как во всех приключенческих книгах лодки непременно встречались, я потянул Даудова дальше.

Дождь перешёл в ливень. Волны, перекатывая

камни, шипели, как тысяча змей. Лодки всё не было!.. Ударила молния!.. Первый раз я видел небесный разряд так близко. Ослепшие, мы пригнулись от грохота. Пятница сел на камень и заскулил.

– Пошли! – дёрнул я его за руку, и мы побрели назад.

В ту ночь дежурила наша любимая медсестра – Пашковская Людочка.

Ходила она всегда в вызывающе коротких халатах, и ноги её, стройные, сильные, будили в нас, подрастающих санаторских мальчишках, чувства загадочные.

– Мерзавцы и подлецы! Я уже всех на уши подняла! Вас ищут! – сказала она незнакомым осевшим голосом, когда мы вернулись. – Уволят меня! Точно – уволят! Из-за вас, негодяев! Спасибо!

Под принесёнными ею одеялами мы никак не могли согреться.

– Прости-ите нас, Лю-юдочка! – захныкал Даудов. – Мы больше не бу-удем!

– Конечно, не будете. Вышвырнут вас, вместе со мной, как котят!

Людочку было жаль. Я отвернулся.

На пионерской линейке в присутствии главного санаторского комсомольца нас заклемили как злостных нарушителей дисциплины – занимаем чужие койки... сводим на нет усилия медперсонала... хулиганы, недостойные пребывания в советском лечебном учреждении! Итог – досрочная выписка.

Даудов рыдал до икоты.

Потом из глухого дагестанского аула приехала его престарелая мать и, бухнувшись в ноги главврачу, вымолила прощение.

Когда Даудов подвёл меня к ней знакомиться, «Ты плохой, нехороший мальчишка!» – сказала она с жутким акцентом и утащила моего Пятницу от меня подальше.

В санатории я уже был сам по себе. Лечение прекратили. Койку вывезли в изолятор. Через окно я постоянно убегал к морю, где в своё удовольствие глазел на волны и плавал.

В парке с волосатыми пальмами и кипарисами я легко представлял себя Робинзоном, чудом спасшимся с разбитого корабля.

Над Алупкой нависала гора Ай-Петри. отвесные скалистые выступы её по утрам неестественно розовели. Мечтой моей было, взобравшись к утёсам, потрогать тот розовый цвет руками.

С Людочкой мы так и не помирились. Увидев меня, она поджимала губы и отворачивалась. Мне было досадно.

Пришла Надежда Ивановна, двоюродная тётка, устроившая меня в санаторий. Глядя в окно, она сказала:

– «Экскурсиями» своими ты делаешь себе только хуже. В корпусе когда тебя заберут – не дождутся... Звонил твой отец. Мама уже выехала. Он просил передать, чтобы сын его вёл себя так... чтобы всем нам не было стыдно. Ты понял?

– Да, тётя.

Она достала пакет с печеньем и фруктами:

– Кормят ещё?

– Иногда.

Потрепав меня по стриженной голове, вышла.

В санатории стригли всех наголо, кроме «ходячих», оставляя им чубчики. От моря и солнца мой чуб был выгоревшим и жёстким.

Мама приехала с Игорем, и в Алупке мы прожили ещё почти месяц. У тёти Нади. Ходили на пляж. Плавали с Игорем на скалу Лягушку. Ездили в Воронцовский дворец. В Ялту. В студии звукозаписи Игорь записал хит сезона: «Шизгару». На тётушкином проигрывателе мы ставили её раз десять на день. Из той же студии вечерами доносилась «Звёздочка». Группа «Цветы». «Хм-м, интересно ребята лабают! – умничал Игорь, окончивший к тому времени «музыкалку». – У них Лосев поёт...»

Александра Лосева я видел единственный раз. В Архангельске. В 86-м. Свободных мест не было, но друг мой, неунывающий одессит Виктор Эстерле, сказал билетёрше, что я только что с поезда! из Ухты! с нефтяной вышки! специально на Стаса Намина! и вот!.. облом, понимаете! «Конечно, конечно!» – добрая женщина подвела меня к самой сцене и вынесла стул. Выглядел Лосев ужасно. Улыбка снятого с креста... Первые две песни пел вообще непонятно как! И вдруг! – чистое, ни на что не похожее:

Песни у людей разные,

А моя одна на века...

На несколько минут я просто перестал дышать... Это необъяснимо.

В ялтинском парке я ловил руками жирных, похожих на карасей красных рыб. Или хватал за горло подплывшего близко лебеда. Лебедь был со меня ростом и больно колотил крыльями по лицу и плечам, мы были почти на равных. Подобные мои выходы Игорь всячески поощрял. Десятый класс. Переходный возраст! При появлении девочки из Москвы – Лариски – говорил отрывисто, пижонски закуривал, стараясь как можно скорей от меня избавиться.

В Заполярном встретил отец. Расспрашивал о побегах. Смеялся:

– Смотри, мать, что задумал-то, а! Сынуха наш! В море на лодке! «Ё-хо-хо и бутылка рому!..»

Потом, посерьёзнев:

– А что, Крейда... я слышал?..

– Уехал, – мама покачала головой. – Надя сказала, операции ему делать легально так и не разрешили. В Израиль как будто...

– Так-х... «пертес» больше не оперируют?

– Нет. Получается, не убедил на светил наших.

– Эх! Страна Лимония!.. Дундуки у нас в минздрава сидят. Факт! Запомни, сынок, тебе этот человек новую жизнь дал. Я говорил с ним... о разном... о шансах твоих стать здоровым... Он уже тогда эти операции на свой страх и риск делал.

Несколько дней после приезда из санатория.

Родители на кухне пьют чай. Мама рассказывает. Я в коридоре. Делаю вид, что играю с мячом. На самом деле подслушиваю. Шпиону...

– Представляешь, Володя, сегодня аптекарша, Окунева, жалуется мне: забрали к себе они старика. Свёкра. Девяносто лет. Досматривать. А тот ещё дымит как сапожник и ежедневно водки требует. Не нальют – матерится, злющий как чёрт становится. Раньше в семье у них без повода выпивать не принято было, теперь как за стол, так бутылка. Но самое интересное – несколько дней назад пропал дед. Что делать? В милицию заявили. В больнице искали. В морге... Нет, говорят, ничего про вашего старика не знаем. Тут объявляется он. Весёлый такой. Глазки бегают. «Вы уж, – говорит, – извиняйте. Гульнул маненько. Бабку нашёл. Так что – если что, предупредить теперь буду». Стопку ему налили на радость. Выпил. Руки потирает. Подмигивает: «Да тут у вас, оказывается, жить можно!» Вот тебе и дед – в обед сто лет.

– Генетика у старика сильная. А может быть, и судьба такая: сто лет прожить и чтобы ни днём меньше. Факт! А я тут, знаешь, совсем другую историю вспомнил. Мать рассказывала. Прожили старик со старухой лет тридцать. Что называется, душа в душу. Обоим за восемьдесят. Сошлись, когда им по пятьдесят было. Ну, возраст, конечно. Старуха не то чтобы старика, себя-то уже обиходить не может. А дом-то её. Старухи, стало быть. Тут сын его пришёл. «Забираю тебя, батя, – говорит, – у меня сохраннее будешь». Так и зажили. Врозь. Только недели не было, чтобы дед бабку не навесил. А дворы их друг от друга километра за три. Станица длинная. Сам с клюкою, еле ноги волочит. Придёт, сядут они со старухой друг против друга на кухне, в пол смотрят. Когда и поплачут, но больше молча. За годы, что вмес-

те прожили, всё, что можно сказать, сказали уже, наверно. Темнеть начинает, дед в дорогу: «Пора мне, Тося». – «С богом, Васечка! С богом!» До калитки проводит. Перекрестит. Да... Так вот...

– Нет, Володя, не будет у нас... Такого не будет. Тут и гадать не надо.

Запнув мяч под диван, я ушёл в детскую. Ну неужели нельзя поговорить о чём-то весёлом? Отец столько историй знает... а тут...

В сентябре 74-го я пошёл в пятый класс. Пока в санатории был, 22-я школа поднялась как раз на поляне, где мы в детстве играли в футбол. Это не радовало. Поляна давала свободу. За ней лес.

Учился посредственно. Хорошо успевая лишь по литературе, ботанике и истории. К русскому письменному, из-за множества правил, которые нужно было затверживать, симпатий не возникало. Устный же был и живее, и проще.

В это же время у нас появился телевизор. Программы – две. Первая и вторая. Шутили, что на остальных каналах дядька из КГБ грозит пальцем: «Я тебе пощёлкаю!»

Выпив, отец засыпал под любую из программ одинаково быстро.

После возвращения из санатория я заметил, что пить он стал чаще и с мамой они заметно отделились.

Появление в 22-й школе свелось для меня к обычной для новичка проверке.

В первый же день занятий один из лидеров класса, Самсонов Андрей, после неподобающей словесной перепалки влепил мне пощёчину. Пощёчину я вернул. Класс замер... Самсон был нагловатым переростком, из всех одноклассников уступающим в комплекции разве что моему приятелю, Сашке Кацко.

Кацки проживали над нами. Танька, Серёга, Сашка – здоровенные все. Отец двухметровый. Танюха, бой-баба, в детстве хватала обидчиков моего брата за шивороты и стучала их лбами. Игорь ей чем-то нравился.

Вошла учительница. Самсонов, глаза навывкате, зашипел:

– После уроков... понял?!

Учитель в этот день я не слышал. Сидел истуканом. От любопытных взглядов одноклассников под рёбрами неприятно подсасывало.

– Не дрейфы! – на переменах взбадривал меня Сашка Кацко. – Самсон парень крепкий... но трусливый. Братика своего зовёт, если сам не справляется. А тот у него... дерьмо. Гнус!

От этих инъекций бодрости мне становилось толь-

ко хуже. Не прибавляло настроения и то, что Кацко, казалось бы, мой товарищ, играл на два фронта. С Самсоновым они сидели за одной партой, и Сашка ему нашёптывал:

– Не хлюпик точно... сбить... потом ногами... никто за ним не стоит... не боись...

После уроков мальчишеская половина класса дружно высыпала на хоккейную коробку.

Сжав кулаки, с Самсоновым мы стояли довольно долго. Переминались.

– Ну, что вы там, скоро? – не выдержал Вовка Плотников.

– Да врежьте же... кто-нибудь! – с другого боку отозвался мой будущий приятель Сура – Серёга Суринов. Шутовски вывалив язык, он принял боксёрскую стойку, показывая, как нужно врезать.

– Первым не бью, – глухой, совершенно не мой голос.

– Андрюха, холодно. Замёрзли уже, – мальчишки загалдели наперебой. – Давай! Ну!.. Или струсил? Струсил? Так и скажи!

Кто-то начал закуривать.

– Сейчас... сейчас, – прошевелил губами Самсонов, и тут же в глазах у меня потемнело.

Скованность?! Слабость?! Энергия страха – вся! без остатка! – на этих ударных костяшках! На кончиках кулаков! Несколько месяцев я носил своё тело на костылях, и руки мои были не по возрасту крепкими.

Отступая с выставленными перед собой локтями, Самсонов упёрся спиной в деревянную стенку хоккейной коробки.

– Уши! Уши! – закричал он и стал оседать.

Не помня себя, я продолжал наносить удары.

– Хорош! – услышал я картавое «р» Кацко, обхватившего меня сзади.

– Пусти его! Пусти! Пусть добьёт! – вцепился в него Плотников, тоже, как я позже узнал, большой любитель «перемахнуться».

– Хорош, я сказал! – страхнул его Сашка. – Баста!

Тут только я почувствовал, что во рту у меня солоно, а губы рассечены.

– По домам, урки!.. Что, непонятно?! – крикнул Кацко и сунул мне в руку портфель. – Пошли! Андрюха ведь к брату сейчас побежит. А тот у него... да я тебе уже говорил.

– Мы ещё разберёмся! – крикнул нам вслед Самсонов.

Но крик его был с интонацией скорей вопросительной, нежели грозной.

– Разберё-омся-а, – спугайничал Плотников. Мальчишки заржали.

«Жалился» Самсон брату или нет – осталось за кадром, но стычек с одноклассниками у меня

больше не было. Правда, и в школе этой проучился я всего год.

Потом – два в 9-й... три в 19-й...

Лучшее из детства – походы в лес. Мама, отец, Игорь... Осенью за грибами. Зимой на лыжах.

От дома до ложбины, где весь Заполярный катался на лыжах, метров пятьсот. Трамплины – какие хочешь. Снег для них натаскивался вручную и обкатывался до ледяной корки. Прыгать рисковали не все. Я рисковал. Краткая радость полёта завершалась, как правило, полным провалом. Похоже, во время прыжка я складывался, в то время как надо наоборот...

– Держи равновесие! – поддразнивает Игорь. – Перестанешь бояться, получится. Пробуй ещё!

В случае, когда приземление удаётся, я на седьмом небе!

– Ты видел?! – глазами отыскиваю брата. – Ты видел?!

Голос срывается.

– Не видел, – подкатывает он, обдав меня снежной пылью при развороте.

Размазывая рукавами сопли, собираюсь на кручу... И снова вниз! Но дважды не получалось.

– Ну-ну! – Игорь давится смехом.

Честное слово, вылезая из очередного сугроба, я готов был его лыжиной треснуть!

Сам Игорь прыгал мастерски. Вытягивался в струну, подсаживаясь при посадке на колено.

Были у него и другие спортивные достижения, оставшиеся для меня за гранью возможного. Ходил на руках. В подъезде, цепляясь пальцами за кафельную площадку пятого этажа, подтягивался раз двадцать. На качелях у соседнего дома, с радиусом оборота метра в три (!), он был единственным, кто делал «солнышко».

– Айда, айда! Игорюха солнышко крутит! – тащили меня соседи-татары на представление.

Игорь, с остекленевшим взглядом, вращался то медленней, то быстрее. Собиралась толпа. Действие завораживало.

Помнится, кто-то решил повторить, но закончилось это плачевно и качели «застопорили».

Однажды отец на плечах вытащил из ложбины сломавшего ногу парня. Наверху он уложил пострадавшего на лыжи и отбуксировал в город. Из ближайшего дома вызвал скорую. Мы с мамой скользили следом и слышали, как трудно он дышит. Курение сказывалось. Прогулка не удалась, но сердце от причастности к настоящему мужскому поступку ворочалось прямо под горлом. Из множества бороздящих ложбину лыжников отец оказался единствен-

ным, оказавшим незадачливому парнишке реальную помощь. На флоте во время учений, согласно боевому расчёту, он был санинструктором.

Для сбора грибов и ягод – сентябрь. Октябрь на севере месяц скорей уж зимний – с морозцем, обвалами снега.

В хорошую погоду брали с собой котелок, картошку, луковицу и хлеб. Отец грибником был отменным. Ягоды брал редко, но чисто и основательно. Перебирать не нужно было.

В лесу подзывает к себе.

– Спичка-то наш какого красавца поднял, – кивает в сторону Игоря. – А ты всё мечтаешь. Под ноги смотри... Ну?! Что?!

– Ух ты! – упираюсь глазами в шляпку крепыша-подосиновика.

Отец достаёт фотоаппарат. Похоже, он всё уже отрежиссировал. Щёлкает. Меня с трофеем. Игорь. Подзывает маму.

– Теперь с Владычицей.

Набродившись по кочковатым просторам, устраиваем бивак. Обычно на берегу какого-нибудь ручья без названия, в изобилии прорезывающих лесотундру.

Мы с братом бежим за хворостом, отец «кашеварит». Священнодействует. На природе он маму к готовке не допускает. Если же она, для ускорения дела, начинает, к примеру, чистить картошку, отец в шутку валит её наземь, приговаривая:

– Не лезь в чужой монастырь! Не лезь! За пищу у костра один отвечать должен. От начала и до конца. Факт!

Смеёмся. Мама уходит за ягодами или, присев у ручья, неотрывно смотрит на воду.

Пожалуй, что ничего вкуснее и душистее грибного супа, сваренного отцом на костре, я не ел. Отдуваясь, деревянными ложками черпаем прямо из котелка. В завершение тушим костёр. Оставшийся мусор – в пакет. Выбросим в городе.

– Сами придём... другие... Место должно быть чистым, – итожит отец.

Нередко у мамы собирались ученики. Чаще всего её любимый 10 «а». Девятая школа. Выпуска или, как сами они выразились, «образца 1974 года». К этому классу мама относилась с какой-то особой заботой, продлившейся на долгие годы.

Нам с братом справедливым такой расклад не казался.

Весна. Игорь – шестикласска, наказанный за очередную провинность, стоит в углу:

– Да, мама! К ученикам своим ты лучше относишься! – всхлипывает. – И ремнём ты их не гоняешь!

– Если, как тебя, с сигаретой кого-нибудь из них увижу, тоже ремень возьму. И родители их мне только спасибо скажут, – мама отворачивается, чтобы скрыть улыбку.

– Ничего ты не возьмёшь! И не смейся! – готовый пустить слезу, Игорь шмыгает носом. Я подхожу к нему и встаю рядом.

– Малой-то, малой! Спичку поддерживает! – смеётся отец. – Выпусти ты их, мать. Пусть погуляют. Погода, смотри, какая.

А и правда! Солнце крошечное – на севере, может быть, день-два такие бывают – асфальт плавится!

Мама смягчается:

– Марш отсюда, бездельники!

Отталкивая друг друга, кидаемся в коридор одеваться.

Если по каким-то причинам детсад закрыт, мама забирает меня в школу.

На классных часах я за партой с Анитой Шакалите и Лилей Крайкиной. Они мне кажутся взрослыми и симпатичными. Впрочем, симпатичны они на самом деле. Турзучат меня. Смеются. Мама делает замечание. На уроках она строгая.

2000 год. Декабрь. Маме 70. Юбилей! Не верится... Почти треть её любимого 10 «а» у нас. Анита в Штатах. Но с Лилей мы снова рядом.

Конечно же, я ухаживал. Даже стихи читал, что само по себе уже обольщением было. Тосты. Школьные байки...

Не знаю, честное слово, не знаю, почему так со мной случается – пошёл провожать другую.

Но, может, и к лучшему?..

Истории, происходившие в мамином классе, нередко замыкались на нашей семье.

В десятом забеременела лучшая ученица класса, рафинированная евреечка Маринка Фельдман. Мать её к нам с визитом:

– Зоя Фёдоровна, не знаю, что делать. Спрашиваю – от кого? Молчит! Сидит себе, книжки листает. С вами-то они откровенней. Поговорите...

В семидесятых девочек за беременность исключали из школы. В штатном расписании психологов не было, и сюсюкать с «залетевшими» малолетками было некому. Доучиваться? Пожалуйста! В «вечёрке» – за уши вытянут. Только Маринку-то «за уши» как раз и не надо. Умница. Лучшая ученица.

Через несколько дней обозначилась и другая мамаша. Васи Ефимова. В рабочем треухе. Краповщица. Женщина открытая и прямая.

– Зоя Фёдоровна, что с Фельдманшей, знаете? – кивнув на приветствие, с места в карьер.

– Знаю, – насторожилась мама. – А вы тут при чём?

– Ха! При чём?! Так мой же это Васька и убаюкал! Живут они.

Выглянув в подъезд, мама прикрыла дверь.

– Зайдите. Чаю попьём. Поговорим.

– Да... некогда мне, – улыбнувшись, женщина стянула с головы рабочую шапку. – Молодёжь дома. За ними-то глаз да глаз... Хотя чего уж теперь. Я Фельдманше-старшей звонила вчера. Та – инженерша... вся из себя... Муж вообще – «шишка» на комбинате. И так это сквозь зубы со мной – нам не о чем с вами... Подожди, подожди, говорю, сейчас я тебе тему найду. Мы же родня почти. Маринка-то ваша от Васьки моего... того... захвохтала, выходит. Господи, кричит, от кого?! От Васьки?! От вашего? А спеси-то, слышу, убавилось. Я ей начистоту – встретиться нам надо, обсудить всё. Встретились. Вижу, руки у неё трясутся. И вообще вся... перекошенная какая-то. Глазки бегают. «Что делать-то будем? – это она мне. – Что же вы сына-то своего безобразно так воспитали? На девок лезет!» А ей так! – рубанула рукой: – «Васька мой парень хороший! И не начни Маринка ваша хвостом перед носом у него крутить, ни в жисть на неё внимания не обратил бы». Вы-то, Зоя Фёдоровна, как думаете?

– Да, да, – задумчиво откликнулась мама, – Вася у вас мальчик добрый и честный. Хороший мальчик.

– Ну вот, так и я о том же... А Фельдманша как заведённая: что делать-то будем? А то, отвечаю, и будем! Рано им ещё семью заводить. Да и не пара они. Из разного теста. Она всё книжками Ваську пичкает, а ему погулять бы – в поход, в лес. Он жизнь любит. Движение. А книжки что? Почитывает когда-никогда, чтобы совсем дурачком-то перед нею, Маринкой, не быть. Сыну моему семью ещё рано... Да и вашей, говорю... поступать ей... А с малым куда? Фельдманша мне: на преступление, дескать, толкаете. На аборт! Делайте что хотите, отвечаю, только знаете сами, что права я. На том разошлись. Напоследок просила она Маринку в дом к себе не пускать. Да разве я вправе... Ладно. Пора мне.

Женщина, нахлобучив рабочую шапку, ушла.

Мама, прижав губы ладонью, с минуту стояла у двери.

Кончилось тем, что Марину отправили к родственникам в Ленинград... Ваське она какое-то время ещё писала. Звала.

Парень он был неунывающий и весёлый, что для женщин уже на уровне секса. Поехал к ней на зимних каникулах.

А там у Маринки – другая жизнь. Питерские «плейбои».

– Уезжай, Василёк! – кричит она ему в форточку.

Но Васька угёрся – в подъезд!

Плейбоям церемониться недосуг – подбили глаз и спустили с лестницы.

Узнав о случившемся, мама расстроилась:

– Бедный Ромео.

«Битломания» зацепила Заполярный в семидесятые. Леннон, Маккартни, Харрисон, Ринго, просочившись сквозь «железный занавес», с обложек запилённых дисков (с задержкой на десять лет!) взирали на заполярненцев с ухмылочками и без... Их песни-сказки, летящие из вытравленных в окна динамиков, мальчишки семидесятых впитывали как губки. О чём они пели?... Сейчас в Интернете полно переводов. Но я избегаю читать их. Боюсь разочарований, как это однажды со мной уже было при чтении сборника текстов успешного эстрадного барда, оказавшихся на бумаге абсолютно пресными. Битлы – другое... Талантливые, раскованные, успешные... В шестидесятые годы определившие поворот сознания в мозгах миллионов. Чем?... Музыкой. Всего лишь – музыкой. Придуманной ими и ими же сыгранной, спетой. Последний массовый психоз со знаком плюс!

Мальчишки семидесятых... Гитары – в подъездах, клёш от колена и клёш от бедра, длинные волосы – всё «под битлов».

Так как «патлатикам» в школах объявили войну, волосы прятали, убирали за уши.

Однажды после летних каникул почти все мальчишки в мамином классе пришли на занятия с шевелюрами, у многих закрывающими не только уши, но и воротники. Директор Евгений Диамидович Стрелков по кличке Динамит не замедлил взорваться:

– Архаровцам вашим, Зоя Фёдоровна, подстричься немедленно! Развели тут... этих... сразу-то и не выговоришь... Битласов!

Маме причёски учеников понравились. А тут и девчонки ещё – у-у! мальчишки такие хорошенькие сейчас... да!.. а как под «канадку» опять – так и смотреть не на что!

После занятий мама подбросила им идею:

– Девчата, идите к Стрелкову. Сами! Отстаивайте мальчишек. Им ведь и вправду так лучше.

В кабинете у директора поднялся галдёж. Хрюкнув от неожиданности, Динамит смягчился:

– Ладно, ладно! Успокойтесь! Пусть подровняют эти... хотя бы... чёлки. И-и... вихры чтобы не торчали, понятно?

Потом выговаривал маме на педсовете:

– Акцию эту вы организовали?! Сами ученицы не дотумкали бы... Эх! Да ладно. Что уж теперь? Битласов учить будем. Вот что! Стыдоба! Смотрите,

чтобы не получилось у нас... как это... «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст».

– Джаз у нас, Евгений Динамитович, – незаметно для себя мама оговорила, – вроде бы никто не играет. Его и с музыкальным образованием сыграет не каждый.

– Я вам не Динамитович! Не забываетесь! А все эти ваши длинноволосики... джаз этот – одна шайка.

Евгений Диамидович вскоре переместился в кресло заврайона, оттуда – в обком. Прозвище Динамит следом. Прилипло.

Жигарь Сергей, Андрей Чернов, Раговский Валера, два Василя – Ефимов и Шлейко. Парни эти дорогого для мамы класса запомнились больше других. В походах Раговский с Ефимовым занимались моим воспитанием. Устав от подножек и прочих с моей стороны провокаций, прикинувшись паиньками, они завлекли меня за ближайший пригорок, где с нескрываемым удовольствием умывали из ближайшего ручья или лужи, щедро заливая за шиворот. Процесс этот сопровождался назидательными наставлениями. Я вырывался, но молча. Игра была жёсткой, но мама о ней не должна была знать. Нечестно было бы... Освободившись, я обрушивал на «воспитателей» град торфяных комьев.

У следующего ручья история повторялась.

Вася Шлейко отличался спокойствием и уверенностью. Он появился в шестом... И сразу же, в ответ на прощупывание его пинками и подзатыльниками, сунул кому-то в зубы.

– Разобраться бы надо, – подступили к нему Жигарь, Чернов и Раговский.

– Пошли!

Васька, несмотря на вполне предполагаемый исход схватки, двинул за ними. Девчонки – в учительскую:

– Зоя Фёдоровна, скорее! Мальчишки новенького бить повели!

– Где они? Давно?.. – на ходу выспрашивала мама.

– В школе. В подвал пошли. Зоя Фёдоровна, не успеет! – степенная староста класса Люба Алышова рядом почти бежала.

Подвал в девятой школе обжитый: тир плюс всякие кладовые и тупики.

– Не смейте! – увидев поднятые в полутьме кулаки, крикнула мама.

Кулаки опустились.

– Как же вы можете?! Посмотрите в глаза мне! Все, Чернов, все посмотрите! Не стыдно вам?! Ай-ай-ай! Кого же я воспитала?! – голос у мамы дрогнул.

– Зоя Фёдоровна, – не выдержал Жигарь, – зачем вы?.. Мы сами...

– Я-то думаю, что вы уже взрослые. Надеюсь на вас. А вы? Трое на одного! Позор! Уже за то одно, что не испугался он... пошёл с вами... вы теперь помириться должны и порадоваться, что в классе у нас не трус появился, а парень с настоящим мужским характером! Эх вы! Немедленно пожмите руки! Ну!..

«Стороны» нехотя подёргали друг друга за руки.

– Вам ещё вместе учиться и учиться. Жизнь впереди. Вы одноклассники и, значит, вместе должны быть. Как мушкетёры! Один за всех и все за одного. Ясно?!

«Мушкетёры» мрачно кивнули.

Крупные люди, с пещерных ещё времён, окружающих впечатляют. Жигарь был крупным с детства. Валерка Раговский как-то обозвал его «Шкаф». Шкаф так Шкаф, без обиды...

В Заполярном все знали родного дядьку Сергея – начальника паспортного стола. Тоже Жигаря. Человек невероятной служебной живучести, тот стойко держался на своей хлебной должности в любых ситуациях. «Случись невероятное, и город наш будет оккупирован блоком НАТО, начальником паспортного стола всё равно останется Жигарь. Если же паспортный стол в странах НАТО не предусмотрен, его пришлось бы придумать», – посмеивались над капитаном милиции заполярненцы.

Ничем, кроме усов, на знаменитого дядьку не похожий, Сергей, как большинство гигантов, был добродушен и немного вальяжен. Дружбу водил с Валеркой Раговским, мальчишкой занозистым, шустрым, любителем посмеяться над всеми... кроме себя.

Раговский хорошо рисовал и в классе отвечал за оформление стенгазеты.

– Так вот, Зоя Фёдоровна, Раговский за человека нас не считает. Ну, за людей, в общем... – встречают маму в школьном коридоре Жигарь с Черновым.

– Как не считает? Что случилось?

– Да вот... стенгазету вывесил... а там... Пойдёмте посмотрим.

В классе на листе ватмана, прикнопленном к рейкам «классного уголка», Раговский, прикусив от старательности язык, что-то дописывает.

– Ну, вот... Молодец! Умничка! – мама гладит художника-оформителя по плечу. – К классному часу газета как раз... И тема у нас будет: «Современная русская литература». Я уже и поэта нашего пригласила. Александра Миланова. И «бэшники» придут. Потеснимся.

– Ну, дак-х... старался... – краснеет от похвалы Валерка.

Жигарь с Черновым, подталкивая друг друга кулаками под рёбра, ехидно хихикают:

– Зоя Фёдоровна, да вы... х-х-х... заголовок прочтите. Пусть Валерка как хочет, а мы «чулоками» быть не согласны.

Мама поднимает глаза. Читает. Крупные заглавные буквы – ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, НО ЧУЛОКОМ БЫТЬ ОБЯЗАН.

– Валер, а «чулоки» эти... кто они?.. – спрашивает она после полуминутного молчания.

– Сам не знаю... как... могло?.. Заглавный текст... – закусывает карандаш.

Чернов и Жигарь в истерике хохота заваливаются на парты.

– Ты... это... Валерочка, – мама машинально поглаживает его по плечу ещё раз, – «чулоков»-то убери... «Чулоков» не надо...

– Да уберу... уберу! А ну пошли вон отсюда! – срывается вдруг Раговский на своих друзей. – Из-за вас это всё! Ходите, зудите тут под руку!

Верх газеты спешно пришлось переделывать.

Однажды мамина приятельница оставила отцу для присмотра (он говорил по телефону и не успел сказать «нет!») свою полугодовалую дочь Надю. Едва за мамашей захлопнулась дверь, как девочка тут же обложилась естественным жидким продуктом... с характерным запахом. Пришлось её срочно купать и кутать в домашние простыни. С переменным успехом это продолжалось до вечера. Пелёнки и еда к просьбе «посидеть с Надюшкой полчаса» почему-то не прилагались. Проголодавшись, та стала кричать.

Сто лет отец не готовил пюре, сто лет не кормил младенцев... но тут-то... да что уж...

Естественно, что материал для газеты в тот день он не выдал. Незадачливой же мамаше по её возвращении «выдано» было по полной...

Звали мамашу Людмила Алексеевна Самаркина. В школе она учила детей русскому языку и литературе.

«Мёртвые души». Урок. Людмила Алексеевна в добром расположении духа и настроена пошутить:

– Вот ты, Жигарь, ты же самый настоящий Собакевич. Посмотрите, ребята! Ну что? Права я? А ты, Мелешко Наташа, – Коробочка. Ну типичная же Коробочка!.. А?.. Ноздрёв – это у нас Раговский, конечно. Как же, как же! Вон глазки забегали! Манилов? Кто же Манилов? Ага! Чернов! Андриюшенька. Сиропный ты наш! А ты, Люба, – взгляд её остановился на старосте класса Алышовой, – ты тоже из Гоголя... Но из другого произведения. Так-так!.. Подождите! – Людмила Алексеевна вошла в раж, – Солоха! Ну, дети, верно же? Вылитая Солоха!

– А вы, Людмила Алексеевна, дура! – голос Любы Алышовой прозвучал неожиданно громко.

– Да я!.. Да вы!.. Да что же это такое?! – Самаркина выскочила из класса.

В учительской, лёгкая на слезу, разрыдалась.

Подошла мама:

– Люда, ты же сама виновата. Иди в класс, извинись и продолжай занятие. А с Алышовой я побеседую.

– Мне извиняться? Перед кем? Перед ними?! Сопляками твоими?! Да ты в своём ли уме?!

– Я-то в своём... А вот ты?!.. Какой реакции от класса ты ожидала? У ребят моих есть чувство собственного достоинства. Это хорошо. Это замечательно! И в данной ситуации, Людмила, я не с тобой. Я с ними. А сейчас, извини, у меня урок.

– Зоя, я так не оставлю! Я к Динамиту...

– Не горячись. От огласки тебе только хуже будет. Подумай.

Мамины ученики. Класс «а» «образца 1974 года». Теперь им за пятьдесят. Ей за восемьдесят. Пишут письма. Присылают посылки. Приглашают в гости. Узнав, что маме срочно нужна операция на глаза, собрали деньги. Деньги немалые! И просьбы на то с маминой стороны не было никакой.

Учителей в своей жизни я видел достаточно, в том числе и хороших, но таких отношений – с обратной связью: ученик и учитель, учитель и класс, на долгие годы, на жизнь! – больше не встретилось.

Когда первого сентября следующего учебного года мама вошла в класс... третьими за партами, возвышаясь над пятиклашками, сидели её любимые выпускники. Бывший десятый «а». Все, кто был в Заполярном. Со слезами на глазах сделала она переключку, называя в том числе и их фамилии. Притихшие пятиклассники с удивлением наблюдали, как поднимаются из-за парт эти, по сути, уже взрослые люди. Потом мама пригласила их выйти к доске и, коротко переговорив с каждым, попросила дать ей возможность вести урок. Выпускники вышли.

Учителя Заполярного говорили потом, что случая такого на памяти их ещё не было.

Мои «неуды» по точным наукам отца интересовали мало. Мама, напротив, каждое лето мучила меня репетиторами. За летние каникулы я становился почти профессором. Некоторые учителя, считающие меня в прошлом году непроходимым тупицей, откровенно недоумевали. На вопрос их – с кем занимался и сколько же это стоило – я поднимал себе цену:

– Да так, ни с кем почти... Брал учебники...

– Ну-ну! – хохотнула по этому поводу химичка Козлова. – Экстернист-самоучка! Как бы второго вождя пролетариата не вырастить на свою голову.

Шутка была неполиткорректной, но слух у все- сильных ушей КГБ начинал уже давать сбой.

Химию с моим приятелем, Сергеем Вавиловым, мы действительно освоили сами. Взяли да и проштудировали учебник «органики» от корки до корки. За две недели. Химиками мы, конечно, не стали, зато спутниц жизни меняли впоследствии... Соревнуясь, что ли?... М-да! Не химии ли это влияние?

Из летнего лагеря после девятого класса Вавилов вернулся, дымя сигареткой. Зажёгся и я. Что за кайф эти первые сигареты! Эйфория! Взрослость! И за- жигалка – непременно чтоб хромированная – в кармане. И сигареты чтоб самые дорогушие – «Космос»! В школу идём попрыгивая.

Перемены «прокуривались» на школьном углу, где с проходящими мимо преподавателями – неизменная сценка: окурок в кулак, кулак – в рукав пиджака. «Добрый день, Валентина Фоминична... Здравсьте, Анна Пална, здрасьте...»

«Здрасьте» проходило далеко не со всеми. Надежда Александровна Кряжевских, завуч и родная тётка нашего одноклассника Алика Савенкова, с курильщиками боролась жёстко. Визиты её в мальчишеский туалет были явлением будничным.

Заходила без стука. Школяр, по-домашнему задумчиво «зависнувший» над унитазом – «с дымком» в зубах, получал от Кряжевских оплеуху столь ощутимую, что дальнейшие его физиологические реакции были непредсказуемы. «Медвежья болезнь», – резюмировала в этих случаях Надежда Александровна, с непроницаемым, без эмоций, лицом.

Как-то во время одной из таких инспекций в туалете находились лишь Генка Чапин и я. Сидя на подоконнике, я тупо смотрел в окно. Нерастерявшийся Чапа просунул через верх штанины ладонь, лихо вывернув из гульфика большой, с загнутым ногтем, палец.

– Пись-пись, пись-пись! – закричал он отчаянно, с деланным испугом оглядываясь на каменное лицо визитёрши.

Та, преследуя Чапу от одного унитаза к другому, пыталась увериться – не прячет ли этот шалун где-нибудь сигаретку? Генка, раскачиваясь маятником и поворачиваясь спиной, не сдавался. Помужски поиграв желваками, Надежда Александровна удалилась. Полагаю, уход её стимулировали мои бездыханные конвульсии – от смеха я начал сползать с подоконника.

Кряжевских оказалась та ещё штучка! Теперь по её предметам (русский, литература) оценки мои выше тройки не поднимались.

С мамой, работавшей в той же школе, разговор у них вышел следующий:

– Зоя Фёдоровна, какое ПТУ вы определили для вашего сына? Что-то не припомню... вы, кажется, говорили?..

– Уважаемая Надежда Александровна, – поморщившись, как от приступа зубной боли, мама не дала ей договорить, – мой сын учится уже в девятом классе. В ПТУ определяют после восьмого. Кстати, почему вы не отдали в профтехучилище своего племянника? Из него мог бы получиться замечательный маляр-штукатур или токарь. Теперь вот в девятом... мучается мальчишка...

– Вы настоящая мать своего сына, Зоя Фёдоровна, – взгляд Кряжевских устремился вдаль. – Не знаю, почему вас так боятся? Говорят, что, перед тем как оказаться в нашей школе, вы в ЦК ездили? С жалобами на руководство районо. Так вот, со мной этот номер не пройдёт. Готовьтесь. Я скоро приду на ваши занятия и железной рукой наведу там порядок. Слышала, что с учениками вы всякие там либеральности развели... чуть ли не обнимаете их... Так, что ли?

– Школа эта, Надежда Александровна, такая же ваша, как и моя. И здесь я не оказалась, здесь я работаю. После разговора со мной в ЦК в район действительно прислали проверку и руководство районо сняли. Значит, было за что. А дети?.. Если им тепла не хватает? И если ребёнок к учителю тянется? Что же его?.. Оттолкнуть? Или указкой по голове? А железная рука ваша... Вы бы её, Надежда Александровна, поберегли. Пригодится ещё.

Вскоре Кряжевских уехала куда-то директорствовать. Железной рукой.

Никто в девятнадцатой школе по этому поводу не заплакал.

Сентябрь 79-го. Мы – два выпускных, «а» и «б», – на Рыбачьем.

Черничные сопки. Военные укрепрайоны. Немецкие. Доты и дзоты: бетонные стены в метровую толщину, каменные ступени. Перила – стальная проволока. Ржавая, да не гнётся!

Спиртного в палатках – рекой. В рядах экскурсантов разброд. Кто к речке, кто за черникой, кто к костерку с гитарой.

Преподаватели, для порядку поволновались, в конце концов махнули на нас рукой. Происшествий, по счастью, не случилось.

Мы с Вавильчем и Аликом Савенковым, укрывшись от учительских глаз за палаткой, пьём сладко-

ватый «Агдам», ударяющий в голову незаметно и резко. Коварность напитка проявится позже, когда Савенков, вообразивший себя героем-штурмовиком, полезет «брат», забрасывая ошметками торфа, ближайший дзот. Лишь по случаю он будет ухвачен мной за штанину над каменной осыпью... Мелкие, как спичечные коробки, палатки внизу... За вторую штанину уцепился Серёга.

Выволочив «штурмовика» на черничное плато, закурили.

– Ты чё, Сова, бледных поганок объелся? – пустив дымок, Вавилыч высыпал в рот горсть фиолетовых ягод.

Перевернувшись на спину, я разглядывал небо. Синее – жуть. На Севере лишь такое...

– Жить надо! Жить! – подпрыгнул вдруг Савенков, пиная нас по голенищам сапог. – Ну не сорвался же? И не судьба, значит. Пошли! У нас там осталось ещё?!

– Тебе, пожалуй, хватит, – усмехнулся Серёга, – иди вон у костра посиди. Погрейся. Гитару послушай. Галка Демидович соловьиной там разливаётся. Слышишь?!

– Соловьи-то как раз не поют, – алкоголь подхлестнул во мне эрудицию, – соловьи только...

– Скучные вы, – отмахнувшись от нас, Алик побежал вниз. – Жить надо!

Он поживёт. Как многие наши сверстники, чуть за сорок. Нервно. В 2010-м наш одноклассник, Лёва Гугучкин, сообщит мне по Интернету:

– Алика больше нет. Рак.

– Ты уверен?

– Да. Я хоронил его.

«Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была...» – бархатно затянул у костра Савенков. Демидович подпела.

Позже она, Вавилыч, Семёнов и Савенков захотят создать свой оркестрик. ВИА, как тогда говорили. Станут ездить в воинскую часть. На девятнадцатый километр. Там инструменты... Репетиций состоялось всего пять или шесть. Что-то не ладилось. То Алик не в голосе. То Галка, вместо «ван! ту! фри!» начинает теорию музыки «вкручивать».

– Кончила «музыкалку» и грубит теперь. Зануда басово-скрипичная! – горячился «ударник» Семёнов. В Афганистане он будет серьёзно ранен в живот, но выживет.

А Галка Демидович, как дело с ансамблем застопорилось, возьми да и напиши сочинение в стихах. Поэму! По школам потом читали. О «душке Ленине». Не помню только, в Разливе он был у неё или после уже...

Литераторша наша (она же «классная мама»), Ва-

лентина Фоминична Минькина, к поэме отнеслась с пиететом. Благо, наизусть учить не заставила.

В общем, наделала Галка шуму.

Тут самое время признаться, что на стихи и меня «пробило». Взял с полки томик Сергея Есенина и... задохнулся – от странного, царапающего душу...

Отец по случаю тиснул мои вирши в газету. Потом повинился, что место нужно было заполнить.

– Ты пиши, сынок, – приглаживал он моё творчество. – Поэтом, конечно, тебе не стать. В стихах настоящих... тут вот что важно – чтобы не только ты сам, чтобы ещё душа чья-то в ответ на слова твои завибрировала. Читаешь – и в дрожь! Будто бы ты это... или не ты... но близко... цепляет... Факт! А то, что поэтом не станешь, так это и лучше. Поэт через боль пишет. Иначе нельзя. И боль эта непростая. Она с ума сводит. Помнишь, как в сказке у Андерсена крысы на дудочку шли? На смерть! Так и здесь. Услышал, почувствовал эту музыку... Весёленького не жди. Это я так... В общих чертах. Чтoб понял.

Писать я бросил... А с двадцати пяти – как плотину сорвало – за рифмами рифмы. Думалось – настоящее... Да где там?... Теперь-то уж видится ясно – пустое!

Тогда, двадцатипятилетний, обманывался – смогу! Есенин же смог! А разницы всего-то и было – рязанскому мальчику Господь ладонь на лоб положил.

Корж Олег. Крупный, кучерявый, с чувственными губами и слегка приплюснутым носом – белый негр. У западных украинцев подобный типаж – не редкость.

Я – «бэшник», Корж – «ашник». Вообще, «а» класс, так было задумано изначально администрацией школы, более элитарен. Градус оценок повыше, да и родители из руководства всё больше.

Вечеринки в старших классах в основном проходили на квартирах у «ашников». С закусками, полуправильным спиртным, перекурами в подъездах и танцами. За перекурами обсуждение новинок рок-групп. В углах – поцелуи. Родители, как правило, исчезали.

Нередко на классные «посиделки» прокрадывались изрядно заряженные алкоголем чьи-то знакомые. Случалось, и незнакомые. Таких, оказавшихся рядом с напитками, дружно вытаскивали в подъезд, забрасывая забористыми словами и следом – ботинками.

Корж часто приглашал меня в гости. На старом «кассетнике» с тумблерами мы слушали «Uriah Heep» и «Smokie».

Была у Олега сестра. Людмила. О том, что она неровно ко мне дышала, узнал я лет через двадцать пять. Со смехом призналась. Я же направо и налево влюблялся в её подружек. Ну и баскетболистки, конечно, соратницы Олега по секции. Упругие, молчаливые.

Олегу ещё не было тридцати, когда в одной из плавильных печей рухнувшие тонны шлака раздробили ему ноги и низ живота.

До этого, поощряемый администрацией цеха, он освободил плавильный агрегат от нагара – не в несколько дней, как положено, а в часы. Ломом и молотом. Начальство в ладоши захолопало! Застрельщик! Стахановец! Давай, паренёк! Давай!.. На рекорд идём!

После обвала, неизмеримо сильный, он выполз из жерла печи на руках. В сознании. Кричал. Просил что-то сделать. Спасти...

Я обитал тогда в Мурманске и в Заполярном появлялся наездами. Был и на кладбище... Стоял истуканом. От Людмилы знал, что мать их плакала так, что почти ослепла... что обижается на меня: бывает и не зайдёт. А я не мог...

Для встречи Нового 1980 года в доме над конторой Кольской ГРЭ (геологи проживали там же) для нас освободили две квартиры. Козловских и чью-то рядом. Столы, как на доброй свадьбе.

Родители Маринки Козловской, умильно оглядев нашу компанию – девочки чуть ли не в бальных платьях, мальчики в галстуках, – тактично ушли «новогодничать», как выразился Маринкин папа, к соседям.

Спиртное полилось тут же, и лица замелькали как в хороводе.

Серёга Вавилов время от времени отыскивал меня в толпе танцующих:

– Пошли, пошли. Налито уже.

Водка мешалась с ликёрами, пивом и сладким вином. Неудивительно, что время от времени кому-то из школяров становилось худо. Пол и унитаз в туалете «унектарены» были быстро и основательно.

Под бой курантов выпили стоя. С дружным «ура!». Я оказался рядом с Кузнецовой. Как обычно, мы о чём-то злословили и смеялись. С причёской каре, в воздушном неоновом платье, она была не по-девичьи, по-женски уже хороша. Пожалуй, она мне нравилась.

Потом мы с Вавиловым долго курили. Потом до утра были танцы.

Под занавес с разбегу прыгали на диван, устроив на нём пирамиду из тел. Стоны. Возня. Кто-то кричал, что он съел слишком много торта и теперь его непременно стошнит, причём на всех сразу. Потом стало тихо. И тут я почувствовал девичьи губы – пухлые, робкие. Должен признаться: до этого так не целовали меня ни разу, и... Кто это был? Не помню. Честное слово!

Картинка, представшая пред взором хозяев квартиры, праздничной была без всяких натяжек: «куча мала» на хрипящем от натуги диване, сброшенная одежда, опрокинутые стулья... На столе двухметровый девятиклашка Макс, в экстазе приплясывая и попиная посуду, дико орал: «Ноу ва ноу! Ноу ва ноу!..» Танцора тут же вытолкали за дверь. Естественно, что китайские церемонии при этом не соблюдались.

Козловская, выбравшись из груды одноклассников, виновато потупилась.

– Сейчас мы тебя побьём! – сказал её отец.

У матери настрой оказался более решительным:

– Нет! Сейчас мы тебя убьём!

Не знаю, дурачился Серёга Вавилов тогда или нет, но, взяв Маринку за руку, он тихо, но очень искренне попросил:

– Не убивайте её... Пож-жалуйста.

– Да, не убивайте! Зачем убивать?! Не надо! Мы всё уберём, – встала с другой стороны секретарь комсомолки Эля. – Уберём, правда, ребята?!

«Куча мала» на диване закивала многоголовым чудищем. Кто-то безобразно икнул.

Родители за шиворот утащили Маринку во вторую квартиру, где беспорядок обнаружился ещё более жуткий. Кровати были измяты и передвинуты. Разномастные следы ботинок пестрели повсюду, даже на стенах.

Где школяры умудрились найти среди зимы столько грязи, осталось загадкой.

На этой же вечеринке мы ближе сошлись с Галетным.

Праздник встречать он пришёл с посторонней девицей. Рыжей, миниатюрной, с блестящими глазками. В какой-то момент возлияний заботу о ней Олег поручил Гелевею Эдику. Чем всех удивил. Всех, кроме Эдика, тут же переместившегося с подшефной в свободную комнату. Вскоре через плохо прикрытую дверь можно было увидеть сценки из жизни молодого жизнерадостного тарантула и его жертвы.

Выскочив с Серёгой на очередной перекур, мы увидели Галетича на лестничной клетке. Тот размышлял:

– Рыжая скотина!
Я вытащил третью сигарету.
– Что-то случилось? – щёлкнув хромированной «зажигой», Серёга деликатно «включил дурака». Новость о танцах тарантула облетела уже полдома.
– Катится пусть ко всем чертям! Дрянь!.. Свинья!.. Твари!
– Может, убить их? – прикинул я вслух.
Жёсткий воспитательный метод матери Маринки Козловской показался мне тут совершенно кстати.
– Идите вы к чёрту, убийцы хреновы! – усмехнулся Галетыч. – Пойдём лучше выпьем.

Класс наш на самом-то деле не так уж и прост. Математичка у доски бьётся, интегралы выводит, а тут – кто во что: кто дремлет, кто книжку листает, кто в крестики-нолики... Все уже знают: Валентина Андреевна – истеричка. Энергичная, бешеная, но вполне безобидная.

Наконец она бросается к столу и начинает рыдать:

– У-у-у! Никто меня не слушает! Мои интегралы! У-у-у!

Скинутые с носа очки австралийским бумерангом свистят над нашими головами:

– Как же?! Как же вы собираетесь математику сдавать! Совести у вас нет! У-у-у! Мучаете меня. Уйду я от вас, ей-богу, уйду.

Класс затихает.

– Ребята, ну перестаньте, пожалуйста, – встаёт вполоборота Кузнецова. – Давайте же слушать. Валентина Андреевна для нас старается. А мы?! Пожалуйста, не уходите от нас, Валентина Андреевна! Алгебру и геометрию без вас нам не сдать. В жизни не сдать. Поднимитесь те, кто готов сдать математику без Валентины Андреевны?

Все усаживаются как первоклашки, положив руку на руку. Тишина. Математичка, глотая остатки слёз, вприпрыжку бежит к доске. Кто-то приносит очки.

– Спаси-ибо, – Валентина Андреевна, не отрывая мела от нарисованного интеграла, натягивает их на нос. – Открыли таблицу Брадиса...

Второгодник Струлис с видом законченного математика открывает порножурнал.

Очки математички, между прочим, не разбивались ни разу. По этому поводу мы едко злословили:

– Учительские. Спецзаказ.

Учитель истории Черногубов задумал удалить из класса переростка Самойлика. Самойлик решил не сдаваться. Противостояние их напоминало схватку борцов сумо, не успевших по каким-то

причинам набрать вес. Черногубов, свободно перемещаясь у Самойлика под мышками и группируясь, подталкивал того к выходу. Самойлик в свою очередь пыжился. Черногубов, закусив от усердия губу, пыхтел. В конце концов, кому-то из школяров это надоело:

– Алексей Васильевич, продолжайте урок. Он же вам не мешает? Стоит каланча себе и стоит.

Самойлик, обернувшись, вывернул говорившему костистый кулак.

– Нет, товарищи! Теперь уйду я! Уйду, как «Варяг», с гордо поднятым флагом. Урок будем считать благодаря вот этой, – Черногубов живописно вывернул ладонь на Самойлика, – как вы сами выразились, каланче, сорванным.

И вышел. Самойлик сел. Активная часть класса тут же принялась обсуждать: что может быть общего между героически затопленным крейсером и историком? И что вообще имелось в виду под флагом?

Несмотря на малый рост, Черногубов мужчина был десятка неробкого и с нарушителями дисциплины всегда разбирался жёстко. Но... не всегда безответно. Однажды какие-то подонки подкрались к нему на улице сзади и, оглушив куском арматуры, пустили в ход ноги.

Однако самым ярким эпизодом, вписанным в скрижали истории школы №19, был конфликт нашего историка с второгодником Яшкиным. Размахивая кухонным ножом, более напоминающим турецкий ятаган, тот ворвался в учительскую и вытянул за галстук Алексея Васильевича в коридор. Согласно требованиям юного экстремиста, преподаватель должен был громко назваться верблюдом или, на худой конец, заголосить петухом. Но Черногубов лишь угрюмо мычал и мотал головой. Кончилось тем, что Яшкин, отрезав себе на память большую часть учительского галстука, гордо удалился... в поданный к школьному подъезду «чёрный воронок».

Далее суд. Слёзы. Извинения родителей. Словом, всё, что в этих случаях полагается. Дебоширу Яшкину судимость светила вторая, а это уже тюрьма.

Алексей Васильевич из школы тут же ушёл.

Маме, встретившей его на улице, он поведал следующее:

– Дворничая, Зоя Фёдоровна. Квартиру вот дали на днях. Однокомнатную. Со всеми удобствами. Учителем сколько лет ждал, а тут – пожалуйста! Стаж-то я давно выработал. А если честно, надоело бесправным дураком себя чувствовать. Ей-богу, когда этот чудик верблюдом просил обозваться, за малым не заорал в рожу его

поганую: «Да! Верблюды! Верблюды конченый! Понял! С первого же дня, как в школу пришёл, – верблюды!» А кукарекать? Тут уж увольте. Сам кукарекает пусть... на нарах. Мразь!

Силами десятого «б» ставим пьесу. Мотивы – «Золотой ключик». Кто надумал? Да так ли уж важно... Но захваленных «ашников» пьесой этой мы по носу щёлкнули крепко. Сценарий мучили коллективно. Писала, конечно, Элька. Инна Киккас вставляла порой еденьекие ремарки. Острил Федяев. Из «ашников», связанных дружбой со Светкой Халюзевой, он был единственным привлечённым.

Я большей частью помалкивал. Ноги Элеоноры, в неожиданно коротких штанишках, повергли меня в состояние, близкое к трансу. Потом, когда мы уже были студентами, на её вопрос – что более всего мне запомнилось в постановке? – я выпалил честно:

– Твои ноги.

Она обозвала меня каким-то не очень приличным словом и отмахнулась, как делала это всегда, если речь заходила о чём-то серьёзном.

В пьесе она играла Буратино. Естественно, что перекручено там было всё. Нетронутыми оставались лишь имена и, по возможности, внешнее сходство с героями. Эльке приклеили длинный нос из папье-маше, Светлане Халюзевой (без пошлых кастингов она играла Мальвину) покрасили волосы синькой. Где не окрасилось, синьку смешали с пудрой и притрусили.

Пьеро, то есть меня, замотали в длинную простыню с неудобными прорезями для рук. Папу Карло играла Киккас. Ей сделали жуткий начёс-одуванчик. В спектакле, под бешено ревущие из динамиков аккорды Пятой симфонии Бетховена, она в исступлении молотила по клавишам пианино. Олегу Галетину, он же пьянчуга Джузеппе, вручили авоську с бутылками. Нос его для пушечей достоверности вымазали той же синькой.

Сначала всё двигалось в рамках сценария. По ходу пьесы, увидев, что моя «возлюбленная» целуется с Буратино, я должен был выкрикнуть «Ах, Мальвина!» и что было силы грохнуться об пол. Что и сделал. После чего нервический приступ смеха совершенно выбил из моей головы дальнейшие действия. Сдерживая хохот, я перешёл на какие-то странные булькающие рулады. Причём мой злосчастный Пьеро давно уже должен был встать, но тело его превратилось в безвольную тряпку. Закончилось тем, что «куклы-одноклассники» стали на меня как-то уж очень недобро посматривать, а Светка-Мальвина, которой пришлось вернуться за

меня несколько чуждых ей реплик, в отчаянье пнула меня ногой, запорошив обсыпавшейся с её волос синькой. Когда же наконец я почти успокоился, позвякивая в авоське бутылками, вдруг захихикал нависший надо мной и спящий по ходу всего спектакля Джузеппе-Галетин. С минуту мы, как два породистых жеребца, гоготали вместе. При этом попластунски к кулисе я всё же перемещался. Но пьесе это уже не спасало! Наше с Джузеппе ржание, коварно раскручиваясь всё громче и громче, магически летало по залу. Да что там летало?! Оно завладело им безраздельно. Едва ли когда-то ещё в этой школе, хлопая друг дружку по спинам, толкаясь и просто держась за животики, отличники и второгодники, учителя и технички, директор и завучи давились от смеха в столь дружном порыве.

Итог: репутация Пьеро как печального человека испорчена была окончательно, сценическая же звезда моя закатилась. Увы, навсегда!

Обязательным было участие школ в двух конкурсах: первый – смотр строя и песни, второй – выступление школьных агитбригад.

Первый. Тут просто: отшагать в ногу перед комсомольскими жожаками. Попутно – пропеть. Чем громче, тем лучше.

Агитбригады – сложнее. Идеология! Сценарии в рамках курса КПСС и прочее... Коллективы, победившие в районных конкурсах, направляются в Мурманск.

В восьмидесятом, разделив первое место с 22-й школой, в Мурманск мы должны были ехать вместе. После злополучного провала в роли Пьеро выход на сцену мне был заказан.

Прочитав на моём лице неподдельное огорчение, худрук (он же учитель пения) подвёл меня к микрофону и предложил почитать «закадровый» текст:

– Неплохо бы голосом Копеляна, конечно. Как в «Семнадцати мгновениях...». Помнишь? Штирлиц молчит и думает, а Копелян за кадром?... – (ещё бы не помнить!) он медленно выпустил облако дыма. За сценой, с молчаливого его одобрения, артистам курить разрешалось. – Но эдак, пожалуй, и у меня не выйдёт.

Мнения о своих способностях в области декламации худрук был явно завышенного: вместо «р» у него, как ни крути, выкатывалось ленинское «г». Представив его в роли закадрового ттеца, с Галетичем мы ржали довольно долго. Потом я подошёл к микрофону и начал читать с листа:

– Героями не рождаются... взоры товарищей были обращены на его партийный билет... он был несгибаем под пулями...

Желание оказаться с одноклассниками в Мурманске было столь велико, что голос мой вышел копеляновского не хуже.

Поезд на Мурманск ночью. В ожидании автобуса собрались на площади у ДК. Мальчишки, оседлав единственную лавочку, закурили. Девчонки разбились на стайки. Смеются. И всё бы неплохо... Но тут возле рослой и симпатичной Гальки Демидович тормознулись два типа. Я сразу узнал их. И кто в Заполярном не знал эти рожи? Гудков, он же Кепа, и с ним Ахметхузин – Ахмет. Конечные «портвейнгеноссе»!

Гудков полез обниматься, но Галька, отцепив его от себя, отпихнула. Тогда её сзади схватил за пальто Ахмет. Получилась возня... причём неприятная. Окаменев на лавочке, мы тупо наблюдали – что дальше? Галька заплакала. Учитель пения, единственный среди нас взрослый, отвернулся и закурил.

– Давайте же... что-нибудь... Может... и ребята помогут?! – тронул я его за плечо.

– С этими... связываться не будем... Сами сейчас уйдут.

Он потянул сигарету ко рту и... замер от режущего, кромсающего воздух крика! Галка вопила как раненая зайчиха. Позже я слышал не раз этот крик на охоте. Кепа с Ахметом, сунув ей пару тычков под дых, двинулись дальше.

– Ну вот, я ж говорил, – педагог подошёл к согнувшейся пополам девице и погладил её по спине. – Ну что ты, Галинка? Нормально же всё...

В поезде все мы делали вид, будто ничего не случилось. Демидович не замечали. Худрук, пересчитав нас по головам, ушёл спать.

Галька, уткнувшись в окно, промакивала платком выбегающие из-под круглых очков слёзы.

«Трус! – говорил я себе. – Ты ещё хуже, чем этот учитель пения!»

Скандалный Генри Миллер в романе «Тропик Рака» писал: «Как хорошо позволить себе быть полным трусом, хотя бы один раз в жизни. И не стесняться этого. Право, это прекрасно! Просто великолепно!» Нет! Не могу согласиться. Оправдать можно всё. А уж писателю – легче лёгкого. И чем талантливей он, тем проще...

Никакого места на конкурсе агитбригад мы, конечно, не заняли.

В Заполярном серия самоубийств. Девчата из окон попрыгали. Четвёртый этаж, пятый... Сценарий типичный. Стая парней, набрав под завязку спиртного, зазывает с собой на «дежурную хату» одну или двух «тёлок». Естественно, что из этой

компании девочкам кто-то нравится. Иначе не объяснишь. Пьют до безобразия. Девчонок накачивают водярой «по самые гланды». А там уж как масть ляжет. Хочется всем!

Одна промолчит. Милиция, суд... Городок невелик. Срамота!

Другая... «Когда? из какого окна? да не было нас... А может быть – с крыши, товарищ начальник? Нет... нет... не видали... мы только зашли...»

Стёкла целы... свидетелей нет – что тут докажешь? А может, сама она? Суицид. Модное слово. «Вот-вот, так мы про то же!.. Ну, если что, вызывайте. Мы никуда... мы здесь, товарищ начальник, как на ладошке...»

Это потом уже, между собой: «Лётчица недоделанная! Дык... ёлы-палы... ну не в тюрьму же?..»

Бывало, что и в тюрьму.

К выпускным экзаменам готовился я в перерывах между главами «Графа Монте-Кристо». Книга эта будто клещами в меня вцепилась. Мама нервничала:

– Оставь ты «Графа» в покое. После экзаменов хоть зачитайся!

Но «Граф» не отпускал. Впрочем, экзамены проходили успешно, не считая литературы и физики.

Физика.

По билету я ответил на пять, но физичка, задорно мигнув мне сквозь толстые стёкла очков, нарисовала «уд». Опешившим членам комиссии, обнажив мои тройки в журнале, она доказательно объяснила, что физику я знать не могу в принципе. Это было неверно – вступительный экзамен в университет я также выдержал на «отлично». Хвала репетиторше! Полный курс физики за три месяца! Она же буквально за волосы меня вытащила. Воспитание – тема отдельная. Ужины под Бетховена и Вивальди. Вилка по левую руку, нож – по правую... Конечно же, я не мог не заметить, что успел понравиться её дочери. Девочка целый год прожила на Кубе и втайне от мамы нашёптывала мне про царящие там лёгкие нравы. К нравам я был не готов, за физику – благодарен.

Литература.

Так как от ленинских сочинений подташнивать меня начинало с первых же строк, в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» дальше первого абзаца двинуться я не смог. Билет же скользнул мне в ладонь будто бы сам собой. Второго тянуть не стал. Что-то наплёл о революции в целом...

– Где же у вас о Ленине, о его статье? – очнулась председатель комиссии.

– Да и о Толстом как-то... – вклинилась литераторша Бирюкова. – Тут главное что? Был ли он зеркалом?

– Ну, дак-х... это само собой... и из названия видно... – ужом я пытался выскользнуть. – Толстой, он писатель. Большой писатель. И, значит, как зеркало был! А Ленин заметил. С его-то умом! Другой не заметил бы, Ленин – сразу! Ну и статью... о зеркале... о Толстом...

Не знаю, куда бы понесло меня дальше, но тут включился историк:

– Хе-х! Про ленинский ум неплохо. Ну, и в целом исторический момент «верхов и низов» передан верно. Товарищи, предлагаю за честь.

Историк. Прозвище Трактор. Целинник-орденоносец! Жаль, очень жаль, что имя и отчество его остались вне памяти. «Целина» же в ту пору была на слуху. Книга генсека и члена Союза писателей Л.И. Брежнева с одноимённым названием не продавалась разве что в нагрузку к контрацептивам. С Трактором считались.

– Ну, как же так?! – догнала меня на выходе из школы наша классная мама. – Это же просто кошмарнице жуткое! Ни слова по статье! Что прикажешь ставить тебе в итоге?

– На ваше усмотрение, Валентина Фоминична, – мне было уже всё равно, страничка позора была перевёрнута.

– Эх ты! Поэт называешься! – классная отвернула пылающее лицо и хлопнула дверь. После появления в районной газете моих стихов она причисляла меня к племени поэтов.

Не скрываясь, на школьном порожке мы с Вавилычем закурили.

– Тройки – тоже оценки, – из дыма он сотворил элегантное колечко.

Обмывали «Агдамом», за два шестьдесят две... У Олега Галетина. Под «Slade» и «Deer Purple».

Дедов своих не помню. Мужчинам, рождённым для штыков и окопов двух войн, долгий век был заказан.

Бабушки.

Со стороны отца – Варвара Илларионовна, с маминной – Ольга Сергеевна. Обе – на Ставрополе, в разных станицах Кировского района. (В России района с таким названием разве что на острове Врангеля нет.) Встречались бабушки редко, по крайней необходимости, называли друг дружку смешным словом «сваха» и разными были во всём.

Варвара Илларионовна Воропаева (Гуенко) родилась и всю жизнь прожила в станице Государственной, ныне Советской. Терская казачка, до-

родная телом, то есть, на местном диалекте, «сламная». Язык имела острый, суждения обо всём – неколебимые. По воскресеньям ходила в церковь. Сорок лет отработав в колхозе, пенсию выслужила в восемь рублей – русский экстрим!

Ольга Сергеевна Бородуля (в девичестве Яковлева) родилась в 1899 году в Москве. Отец её, Сергей Трофимович, в Русско-японскую раненный в грудь под Мукденном, имел сапожную мастерскую. Как всякий настоящий сапожник, пил запойно. Бывало, что, выезжая за товаром, возвращался в исподнем. Мать бабушки – Анисья Васильевна, урождённая Зимина. Известно, что были у неё два брата: священник и учитель. Имён их не сохранилось. До революции Анисья Васильевна – хозяйка прачечной. С дюжиной наёмных работниц. Бельё вращалось в барабанах. Вручную. Не бедствовали. До 1918-го обитали в столице. За Яузой. Спасаясь от голода и потрясений, в 1919-м выехали в Калач, где прадед мой помер от тифа.

Кроме сестры Клавдии, был у бабушки младший брат – Сашка. В Калаче он оставил семью записку: «Ждать более не могу. Иду сражаться за революцию!» Ушёл с красноармейским отрядом и сгинул. В шестнадцать лет.

Анисья Васильевна вышла замуж вторично. В Ростове-на-Дону. За профессора-полиглота. Профессора-буржуя домкомовцы «уплотнили» так, что тот очутился под лестницей. В собственном доме! Иногда его забирали в областную таможню как переводчика. Случилось как-то, что начальник таможни заехал за ним сам и не в шутку разбушевался, обнаружив пожилого и уважаемого в городе человека в каморке под лестницей. «Что вы здесь делаете, Константин Яковлевич?» – «Помилуйте, как это что? Живу». – «Ах они!.. Мать их!..» Профессору немедленно дали комнату. Советскую власть Константин Яковлевич не жаловал. Однако и немцев, пришедших с предложением о сотрудничестве в период оккупации, выставил без церемоний. Двух дочерей потерял в Германскую... Военные докторши.

Бабушка Оля в Москве окончила четырёхгодичную школу «для девочек». Работала нянкой в семье инженера. «Культурный, внимательный человек был. Обед без меня, девчонки сопливой, не начинали». Потом – на калошной фабрике «Богатырь». Фабричная зарплата в 70 царских рублей. Не так уж и плохо. Корова стоила 10. На первые деньги от эйфории самостоятельности купила себе золотые украшения: браслет, серьги. Девушкой ездила с кавалером в театр и «синематограф». На «лихаче». В 1913 году, в празднование 300-летия дома Романовых, видела Николая

Второго, с царицей и дочерьми, при большом скоплении народа проезжавшего по центральным московским улицам в открытой карете. Наследник-цесаревич в матросской форме отдавал честь. Потом – подарки. Организовано. Конфеты в позолоченной кружке с орлами. «Вкуснющие! Шоколадные. Всем хватило». Погибших и задушенных не было. Ходынку помнили. В 1917-м на фабричном митинге стояла рядом с «вождём мирового пролетариата» – Ульяновым-Лениным. «Говорил непонятно, картаво, но гневно, – вспоминала бабушка. – Возбуждение всеобщее... Ленин! Ленин!.. Калашники – в новую жизнь! Верили, как не верить! Думали, лучше будет... Потом от Сретенки до самого центра шли. До Кремля. С красными бантами. Пели: «Вихри враждебные...»

Знания, полученные бабушкой за четыре года учёбы в школе «для девочек», в советское время позволили стать ей учителем начальных классов. Память у бабушки была удивительная, нередко она пересказывала мне много стихов из школьного курса дореволюционной «Родной речи».

В Гражданскую с дедом моим, Бородулей Фёдором Максимовичем, служили они под началом командующего Красной армией Северного Кавказа И.Л. Сорокина. Тогда же и поженились. Дед был командиром пулемётной роты. О командарме отзывался сдержанно. Ещё он рассказывал, что, когда к ним на фронт прибывали представители РВС (Революционно-военного совета), бронепоезд их брался в кольцо вооружёнными «сорокинцами». Эмиссаров разоружали.

За взятие «с ходу» Екатеринодара Сорокин награжден был орденом Боевого Красного Знамени. Как и Махно, в числе первых.

В ноябре 1918-го по решению Второго чрезвычайного съезда Советов Северного Кавказа Сорокин Иван Лукич расстрелян в ставропольской тюрьме. 33 лет от роду. С резолюцией: «пособник врага, неуправляем, жесток». По образованию войсковой фельдшер. Кубанский казак.

Интересную оценку дал красному командарму в своих мемуарах командующий Добровольческой армией генерал И.А. Деникин: «...весь план (обороны Екатеринодара) свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих, Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника».

Создателя РККА (Рабоче-Крестьянской Красной армии) Л.Д. Троцкого дед видел неоднократно. Тот, появляясь на царском поезде, обязательно

но устраивал митинг. «Речист! Сказать умел так, что красноармейцы головы свои на алтарь революции несли без сомнений».

Наезды Льва Давидовича сопровождалась показательными расстрелами.

Бабушка вела документацию штаба. До встречи с дедом делал ей предложение командир «части особого назначения» – ЧОН. В кожане. Маузер до колена.

– А людей ты расстреливал? – спросила она.

Отношение ЧОНа к пленным и заложникам секретоу не было.

– Да. Конечно.

– Ответ мой – нет! У тебя руки в крови.

– У кого же они не в крови сейчас?! Опомнись, Оленька! Время такое. Враги кругом!

– В бою – одно... а так... в затылок – другое. Не обижайся, но я не смогу... чтобы этими руками ты меня обнимал, – закончила она сватовство.

С дедом, ставшим управляющим госбанком, от Кавказа до Урала кидала её судьба. Несколько раз бывала она и у нас, в Заполярном. Там же, в декабре 1986-го, добрая душа её упокоилась с миром.

Дед мой по матери, Фёдор Максимович Бородуля, и 65-ти не прожил. Два брата его, Михаил и Дмитрий, – меньше, как принято теперь говорить, в разы. Кавалеристы, казачья конница. В Первую мировую во время знаменитого Брусиловского прорыва погибли оба. Об отце их Максиме сведений не осталось. Казаковал? Крестьянствовал?

В Отечественную Фёдор Максимович, как специалист, был командиром финчасти. Победу встречал в Берлине в чине майора, с орденом Красной Звезды и медалями. К ордену представлен был за выход из окружения, с бойцами и машиной с деньгами.

А могло и не так быть... Это он уже незадолго до смерти бабушке рассказал. Год 41-й. Из окружения с боем прорвались. С потерями. Тут особист: «Откуда? Какая часть? Деньги в машине? Сколько?» – повёл разбираться. В метрах разрывы! Земля под ногами гудит. Служба, однако! Спешист особист. Кобура расстёгнута. «За мной! Узнаем сейчас, какой ты начфин». У деда внутри оборвалось: «Как разобраться тут можно?! Связь у вас есть хотя бы?! Куда идти?!» Охрану у машины выставил и следом двинул. Что это? Падают особист. Головой вперёд. Плывёт на спине пятно... ширится... Из своих, что ли, кто-то? Оглядывается – точно. Солдат Чемодуров винтовку к ноге! И навтыжку. Чуть губы подрагивают. Под щёткой усов. Седая щетина. Бывалый солдат.

Дед к нему:

– Ты что же это, Чемодуров, творишь? Всех нас тут сейчас и положат!

– Никто не положит. Не видел ты ничего, Фёдор Максимыч. Давай-ка в машину скорее и дёру! Я, когда из первого окружения выходил... тех, кого в особый отдел забрали, всех почти расстреляли. Остальных в штрафбат. Так они разбираются! Некогда нам! Часть свою догонять надо.

Махнул дед рукой. Прав солдат. Тут не свои, так немцы накроют.

На следующие сутки догнали штаб. Что там да как? Какая разница! Главное – деньги целы. Молочина начфин!

А с Чемодуровым дед до конца войны так и дошёл. Плечом к плечу. До самого Рейхстага. Надёжный солдат был.

В 1930 году Фёдор Максимович вступил в партию. Стало быть, большую часть жизни был коммунистом. Человек честнейший. Рыли под него, начиная с НКВД и заканчивая прокуратурой. Должность-то скользкая: управляющий районным госбанком. Не накопили.

Идея укрупнения районов оставила деда без работы. Бывший районный центр – станция Советская, с 1954 года – периферия. Управленческий аппарат – за борт! Деда с его банком – тоже. Бабушке, Ольге Сергеевне, помощнику первого секретаря райкома (номенклатура почти!), предложили работу в Кисловодске. Но без жилья. Дом в Советской продали за копейки.

Двинули в Новопавловку – новый райцентр. Здесь и «железка» тебе, и вокзал – цивилизация! Тут и купил себе дед, бывший управляющий госбанком, турлучную развалюху на два хозяина – комнату с кухней.

Люди за стенкой – смурные. Во всём у них выгода. Двор и прихожая – общие. Вскоре соседка – разведчика-фронтовика (!) – в тюрьму уперли: за крупную кражу на предприятии.

В песне у покойного моего друга Игоря Панькова есть такие слова: «Трудись полсотни лет, без права на обед, получишь с гулькин нос...» Это как раз про моего деда.

Как жили другие советские финансисты? Не знаю. Подсмотреть бы глазком одним, что они детям и внукам своим оставили.

Мама говорит, что дед был таким, потому как был коммунистом. Но думается мне, дело совсем в другом – идеалистом был дед, и партия тут – ни с какого боку.

В станции Новопавловской Фёдор Максимович стал одним из заместителей директора нового,

только что отстроенного элеватора. Надолго не получилось...

Как-то привезли бабушке конверт на дом.

– Что здесь? – спросила она курьера, шустрого паренька.

– Не знаю. Максимычу передать велели. С работы.

На бричку и ходу. Конверт надорван. Бабушка дальше надорвала. Деньги посыпались. Много денег! Откуда?.. Урожай богатый в районе собрали? Премия? Тогда почему на элеваторе не отдали? Что-то не так.

Вечером деду:

– Тут передали тебе...

– Что? – глянув в конверт, дед побледнел. – Зачем ты взяла, Оля? Я ещё там им сказал: нет! Так они домой! Черти!

Утром отнёс Фёдор Максимович деньги обратно. Тут же уволился.

Рассказывал потом, как директор трясся:

– Нехорошо поступаешь, Максимыч. Сдашь ты нас. Это нехорошо.

– В жизни никого не сдавал. Сами вы тут... разбирайтесь. А мне заявление подпишите. Потянете за собой, не обижайтесь. Молчать не буду.

Устроился дед в «Сельхозтехнику», в отдел кадров. Там и до пенсии дотянул.

А элеваторских вскоре накрыли. Суд был. Сроки серьёзные. Деда не тронули.

Умер Фёдор Максимович, когда мне было два года. Мама рассказывала, как я у гроба цветы мямл: «Дедушка, вставай молочко пить».

Говорят, мы чем-то похожи. Рост у нас точно как под линейку – метр семьдесят два.

В седьмом классе я понял, что человек в нештатных ситуациях способен к поступкам, даже для самого себя неожиданным.

Позднее, на военных сборах в университете, этот феномен для нас, без пяти минут командиров взводов, наглядно объяснил майор Кирюхин, открыв стрельбу боевыми патронами под ноги наступающему условному противнику. Секунды через три линия огня была чистой.

– Ну что, курсанты, в штаны наложили? Так-то. Без обиды. Показать вам хотел, в условиях, так сказать, приближенных к боевым, что под настоящими пулями чувствует человек. А как, вы думали, в атаку бойцы поднимались?! Да так и поднимались, с теми же словами нехорошими, что вы только что кричали. Так вот! Знайте: нынешние командиры мотострелковых взводов, то есть вы, в условиях современного боя на передовой должны продержаться от трёх до десяти минут.

Если удалось – задача выполнена. Если при этом остались живы, вам повезло! – Кирюхин умел сказать. В отличие от других офицеров военной кафедры Петрозаводского университета, он никогда не матерился. – Ваши самые смелые, самые шумные, те, что водяру после отбоя глушат, – где оказались? Ма! Не бойцы. Вот и получалось, что «за Родину, за Сталина!» тихие и злые в войну поднимались первыми. И вообще в ситуациях серьёзного выбора человек сам для себя непредсказуем становится.

Оказавшись в 2003 году в полувоенном Грозном, в правдивости его слов я убеждался не раз.

Всё, что в мальчишестве колет, стреляет, взрывается, – наши магниты!

Заполярный отстроился в зоне немецких укрепрайонов. Печенга (Петсамо), Луостари, Генеральская сопка, Корзуново – всё рядом. История этой земли интересна, но мало кому знакома.

Корзуново – гарнизон Юрия Гагарина. Его комэск, Эдмунд Вертинский (в начале 70-х начальник заполярного медвытрезвителя), которому мама не раз помогала с контрольными по английскому языку, любил порассуждать о том, как «гонял в своё время первого космонавта Земли половником по столовой – за неусердие в службе».

Чуть дальше – Рыбачий и Средний. В июле 1941-го здесь, после одного из самых кровопролитных сражений Второй мировой, из пятнадцати тысяч красноармейцев в живых осталось лишь 22. Одному из них, Николаю Букину, суждено будет стать поэтом и автором замечательных строк, превратившихся в песню:

*Прощайте, скалистые горы!
На подвиг Отчизна зовёт!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход...*

34-й километр – ближайшая к Заполярному точка для пополнения мальчишеских боезапасов. Оборудованные там немецкие склады сапёры пытались уничтожить сразу же после войны. Направленными подрывами. Не вышло. Склады изрыгнули своё содержимое на сотни метров вокруг. Позднее решили похоронить несущее смерть имущество в шахтах. Для верности их залили водой, сверху – мазутом.

Шахты – многометровые заглупления с бетонными ограждениями высотой метра на полтора. Зловещая роль мазута сводилась ещё и к тому, что он на долгие годы замедлил коррозию. А значит, и трофеи, извлекаемые нашими железными

крючьями и прочими приспособлениями на поверхность, были в состоянии, что называется, боевом. Случалось, что в шахты падали. В мазутные пасти. Тонули. В восьмидесятые годы, после нескольких таких случаев, сооружения эти бульдозерами сровняли с землёй.

В песчаных ручьях «тридцать четвёртого» – зеленоватые ящики. С немецкими орлами. Внутри них – патроны, в промасленной толстой бумаге, один к одному.

«Петээрки» – на «воронках». По железной дороге в сторону Мурманска – километров семь. Там же, в песчаных осыпях, образованных разрывами авиабомб, мне посчастливилось выковырнуть затвор от какого-то пистолета. Удивительно сохранившийся. С бойком и предохранителем. Находка эта долго хранилась у меня под ванной, пока я её на что-то не выменял.

Раз или два я видел немецкий нож со свастикой на рукоятке. Ребятчи фантазии – «ртутный». Значило это, если его метнуть, лезвием только вперёд летит.

Военные трофеи – валюта. Рогатки, самострелы, карбид, порнографические открытки и прочие мальчишеские ценности выменивались на них охотно.

Ценность патрона зависит от пули.

Низшая ступень – «бронебойка», с помеченным чёрным маркером наконечником. Иногда без пометки. Внутри сердечник – стальной, заострённый, цилиндрической формы. Самостоятельно «бронебойки» никуда не годились. Расколов патрон для извлечения пороха, их обычно выбрасывали.

Предпочтительней «трассы». Конус этих пуль (для ночного боя), в зависимости от цвета при возгорании, был красным или зелёным. При переламывании «трасс» с помощью подручных камней в нижней части их обнажался латунный стаканчик с фосфором. Вступая в реакцию с воздухом, фосфор обжигал пальцы, при разбрызгивании мог травмировать зрение. В наборе обычных шалостей нашей шпаны была и такая: тайно подбросить горсть «трассеров» в чей-то костёр, издали потом наблюдая за реакцией близких к огню людей, особенно взрослых, теряющих вдруг степенность.

Найти на «тридцать четвёртом» ящик с «разрывухами» – удача. Корпус их тёмный, жало без маркировки. Фосфорный стаканчик с характерным кисловатым запахом – в передней части, взрывчатое вещество – в задней. Для приведения в «боевую готовность» конус пули стирался о камень или бетон. Фосфор воспламенялся. Хло-

пок приблизительно через полминуты. Иногда, при отсутствии ветра, фосфор тлел очень медленно или затухал вовсе. Такую пулю пинали. Для «оживления». Особым шиком считалось схватить её и закинуть куда подальше.

Как-то мальчишки из соседнего дома додумались бросить в костёр снаряд. Укрылись за камни. Ждут. «Не... не рванёт уже. Долго...» Поднялись. Тут земля из-под ног... Четверо ранены... Пятый в больнице скончался. «Мама, мамочка! Жить хочу! Жить!..» Это его «мама, мамочка!» весь городок наш вмиг облетело.

То, что к костру с неразорвавшейся боевой закладкой лучше не подходить, все мы, конечно, знали, но...

«Бомбочки» и «самовары». На изготовление их из немецкого винтовочного патрона уходило от трёх до пяти минут. «Самовары» по причине их относительной безопасности нередко взрывали прямо в подъездах. Для этого патрон «кололи» – направленными ударами о твёрдый предмет расшатывали и извлекали пулю. Высыпав две трети порохового заряда в ладонь, пулю вколачивали внутрь гильзы жалом вперёд. Порох с ладони – следом. «Самоварчик» готов! Чиркает спичка... Встряхивая, «самоварчик» удерживали до хлопка. Пуля и гильза при этом разлетались в разные стороны, кисть от детонации немного «сушило».

Патрон, камень и спички, немного нитки. Всё остальное для «бомбочки» лишнее. Извлекается пуля, растроб гильзы с порохом забивается наглухо. Камнем и той же пулей в изделии дырявят отверстие не более миллиметра. Дырка замазывается разбавленной слюной спичечной серой. Нитью подвязывается спичка. Надёжней две... В отличие от «самовара», «бомбочка» бьёт сильней. От воспламенения до разрыва секунды три. Швыряли их как можно дальше или из укрытия. Случалось, что и в руках взрывались. Помеченные осколками пальцы у дворовых мальчишек не редкость.

Летом в станице Советской у бабушки Вари гостили наездами. Чаще с отцом. Больно строга. Может и в лоб заехать. На деревянную ложку в её руке смотрели с опаской. Не забалуешь!

Зато рыбалка! Такого, чтоб не клевало, не помню. Что на канале, что в Куре. Речка Кура в Советской благодаря системе шлюзов многоводная – глубина от берега. В Новопавловке не такая. Ручей. По руслу – ямы. В быстринках усач стоит. Форель появилась позже. Кто-то малька подкинул.

Новопавловка. В сезон от весны до осени местечко райское. Большая часть наших с Игорем летних каникул проходила здесь.

Жили у бабушки Оли. На Путьевой. Рядом ж/д вокзал. Станция Аполлонская. Мальчишкой я бегал смотреть на паровозы – гудящие, дымные, с огромными колёсами, с портретами вождей. Наверно, поэтому И.В. Сталин у меня ассоциируется именно с железной дорогой, с запахом мазута и креозота – китель... Звезда Героя... усы... Изображений таких нигде уже не было. На паровозах остались.

В июне собирали на сдачу вишню. Вёдрами отвозили на заготпункты. Вишня мясистая – шпанка. Выгодно. Дюжина вёдер рублей на тридцать – бабушкина пенсия. В урожайное лето собирали и больше. Игорь, природный лентяюга, до сих пор страду эту вспоминает с содроганием. Вместо гулянок с друзьями – вперёд на ветку!

Естественно, что с вишен мы падали. Бабушка рассказывала, как однажды «ударился оземь» наш двоюродный брат Володя и долго не мог подняться. Оно и понятно, вес – 90. Игорь – счастливчик тот ещё, координация кошачья – приземлялся если не на ноги, то на четыре опоры как правило. Автор этих строк хлопался чаще плашмя, но опять же – вес. «Рама, обтянутая дерматином», – смеялся по поводу моей детской комплекции Володя. Однажды во время одного из таких падений изо рта у меня показалась красная юшка. «Господи, кровь!» – бабушка в ужасе побежала звонить на скорую. Выплюнув вишнёвые косточки и отдышавшись, я пустился подыскивать себе новое занятие. Кое-как отыскав меня в малиннике, врач, после необходимых в этом случае прощупываний и простукиваний, высказал мнение, что госпитализация при моей природной подвижности может скорее навредить, нежели помочь.

Раз в две недели электричкой катаемся в Пятигорск или Кисловодск. До Пятигорска езды два часа, до Кисловодска – поболее. Города-курорты снабжались по особой шкале, и поездки эти носили характер продовольственных десантов. В целом на Ставрополье – «всесоюзной житнице» – в 70-е годы изобилия продуктов не наблюдалось.

При этом в Кабарде, Осетии и Чечне, где мне часто приходится бывать с маминым братом «дядь» Федей, даже в захолустных сельмагах полки были заметно полнее.

– Подкармливают, – в ответ на моё «почему?» хмуро усмехается дядька. – Ничего... ничего... накормят на свою голову. Не нам... вам или детям вашим сервелат этот с маслом поперёк горла встанет! Увидишь!

Фронтоник. В послевоенное время – зоотехник по пчеловодству. Один из первых пчеловодов-частников в Новопавловске. Войну Фёдор Фёдорович прошёл на передовой, от Сталинграда до Бухареста, получил три ранения, чудом выжил и мало чего боялся.

Как-то в дороге, в поисках «взяточных» мест для пасеки, я попросил рассказать его о войне.

– Что говорить?! – пальцы, сжимавшие руль, побелели. – Первых бойцов когда хоронили – рыдали. Потом уже, через несколько месяцев... зарывали. Молча... Угрюмо... Об этом не хочется... Но ведь война – это и жизнь была. У женщины одной в сорок втором на постое стояли. Солдатка. Скромная с виду... в теле... Ну, я тогда...

О женщинах дядька говорил охотно. Тяга к «слабому полу» да ещё к перемене мест была в нём всегда. Он и умер в дороге. На границе между Ставрополем и Кабардой. Железнодорожный переезд... Поезд... Гудки... Сердце! Третий инфаркт.

В станции дядьку считали скаредом. За то, что для перевозки пчёл нанимались работники, обзывали ещё и барином. За глаза. Пчеловодом же он был крепко знающим дело и мёд, даже в трудный сезон, брал.

В серьёзных обстоятельствах дядька был жёстким. Знаю, что в Чечне он открыл стрельбу из ружья по аборигенам, начавшим ночью тихую погрузку его ульев на свой транспорт. Поутру, увидев на траве кровь, спешно нанял «лафет» и уехал.

В летние каникулы мы с Игорем становились для дядьки «любимой рабсилой». Сторожили его кормилицу-пасеку. В качку дымили гармониями дымарей, таскали тяжёлые соты. Я, что было мальчишке вполне по силам, крутил медогонку.

В семье у нас ненормативной лексики не было. Наверное, поэтому свободное владение «дядь» Федей русским «матюзом» казалось нам с братом почти откровением. Выражался он ярко и, я бы даже сказал, красиво. Однажды объектом его «красноречия» оказался Игорь. То ли рамку с мёдом от пчелиных укусов из рук выронил, то ли ещё чего...

– Ну, наконец-то! Включился-таки Фёдор Фёдорович в воспитательный процесс племянника, – дал комментарий Володя.

Обиженно оглядев окрестности своими волчьими глазами, Игорь ушёл в пчеловодную будку переодеваться.

– Ты что?! Ты что?! Посреди работы! – последовал за ним «воспитатель». – Я же не только тебя! Я со всеми...

– Ты, дядя, всех, конечно... можешь... как хочешь... а я... а я...

– Ладно! Не буду больше. Идём!

Слово дядька сдержал. В речи его, однако, зияли заметные бреши.

– Хм... Тонкая вещь воспитание, – усмехался Володя. – Взаимообразная!

Второго ноября 1981-го умер Володя. В тридцать три года. В деканате, узнав, что брат не родной, в разрешении на выезд мне отказали.

Никогда ещё смерть не ввергала меня в столь сокрушительное отчаяние. Днями бродил я по грязным от мокрого снега петрозаводским улицам. В общаге, не раздеваясь, валился на койку, впадая в анабиоз.

Я не простился с братом, не видел его в гробу, и верить в такой исход казалось безумием.

Помню, мама, открыв одну из его тетрадей, прочла вслух:

– «Хождение в миру раба божьего Владимира»...

Глупость какая! Замажь немедленно! Перепиши!

– Эх, Зоя! Разве перепишешь? – улыбнувшись, брат сверкнул золотой коронкой. – А тут вот стихи ещё, из последних... Послушай.

– Не надо, Володя! В стихах твоих полный упадок. От слабости духа. Зачем ты их пишешь – такие?

– Нет-нет! Послушай: «...колесо фортуны... обо мне не плачьте... в путь последний...»

– Довольно! Как же ты не поймёшь! Стихи – не игра, стихи – молитва!

Странно было слышать такое от человека, в канонического Бога не верующего. Они обнялись.

Мама была ему скорее сестрой, нежели тёткой. Так получилось, что рос он в семье её родителей, называя их соответственно мамой и папой, маму же просто – Зоя.

Окончив пятигорский торговый техникум, Володя на известном дальневосточном лайнере «Советский Союз» несколько лет ходил в море. Филиппины, Гонконг, Корея, Япония, Сингапур... От стран этих веяло живыми его рассказами и сказкой одновременно.

Почему же я так любил его? Конечно, не только за то, что он был моим братом. Теперь-то уж ясно: талантливый человек – загадка, но если он рядом – ещё и магнит.

Никогда не учившись живописи, Володя хорошо рисовал. Под настроение – писал стихи. «Так, стихоплупство...» – отмахивался от вопросов на эту тему. Увлёкшись историей и фантастикой, много читал. Рассказы его о Древней Руси, об удельных

князьях я готов был слушать часами. «Разливался по древу» он увлечённо, в подробностях, будто сам всё это видел и пережил. Особый дар. Что-то записывал. Тетради не сохранились.

Умер на службе. Ночью. Кровь горлом. След её – из одного кабинета в другой. Там телефон. Не дотянул. Сердце взорвалось. От боли закусывал пальцы... Вмятины от зубов...

Отец уехал на юг, когда я оканчивал первый курс. Мама рассказывала, что пил он в ту пору совсем уж без меры. Ушёл из редакции. Устроился в автотранспортный цех комбината. Художником-оформителем. Писал руководству доклады. Толковые. Талант не пропьёшь. Прощалось многое... Мама измучилась. Один на один с отцом, как с раненым зверем, оставаться стало опасно.

Как-то утром, глядя на переменившееся потемневшее своё отражение в зеркале, он спросил:

– Зоя, может быть, мне уехать?

– Уезжай, Володя. Мы не семья уже.

Собрал только личные вещи.

На прощание обнялись.

– Ну, вот и всё... – отец, подхватив чемодан, шагнул к лестнице.

Выдохнув глубоко, мама прижалась к стене... Звонок. Снова – отец.

– Вот, весточка тебе... факт... от матери... В ящике было... Теперь уже точно... прощай!

Резко развернулся. Мама осталась стоять с зажатым в руке конвертом. Хлопнула нижняя дверь. Двадцать шесть лет... Счёт окончен.

Узнав об отъезде отца из маминого письма, я не знал, огорчаться ли? Радоваться? Переживал за обоих. Пытался понять.

В августе 81-го, оказавшись с братом на Ставрополье, мы навестили отца.

Первые мои студенческие каникулы. Восемнадцатилетие! Неомрачённость! Несколько дней вместе. Почти семья.

Отец жил в станице Советской у матери – Варвары Илларионовны. В старом, добротном ещё казачьем доме. Работал в колхозе. В должности по нынешним временам необычной – завпарткабинетом. Писал доклады. Ездил по многочисленным бригадам хозяйства с лекциями.

Встретил нас посвежевшим, в неизменной белой рубашке. Обнялись.

– Сначала домой. Бабушка ждёт. Борща наварила. Отобедаем. А потом уже и на службу ко мне. Председателю хоть вас покажу... сынов своих.

– Пап, председатель – это снобизм! – вяло сопотивляюсь. – Ты ещё к Никодимычу нас отвези.

– К Никодимычу нельзя. Первый секретарь никак! Занят. За ним район. Он пьёт и рулит. Рулит и пьёт. Факт!

– Так уж и пьёт?

– Ну-у... обижает! Старый партиец! Как же без этого?!

Опираясь на жизненный опыт, отец был свято убеждён, что любой партийный руководитель может считаться не оторванным от народа лишь в случае, если он человек выпивающий... а пьющий, так ещё и ближе...

Бабушка встретила нас радушно:

– Ой-и-и, унуки какие у меня славные стали! Давайте... Давайте-ка руки мыть. Обед стынет.

Старый дубовый стол летом у неё во дворе. Под яблонями. Плодов – без счёта! А борщ-то какой! Навар красно-жёлтый. Густющий! Ложка стоит! Тарелки бездонные.

Наевшись, отваливаемся. Бабушка настаивает на добавке. Отец торопит:

– Вы, мам, своим борщом кого угодно свалить готовы. А нам пора. Председатель пока на месте. Может уехать.

Родителей в казачьих семьях уважительно называют на «вы». Мы с Игорем в детстве невольно сбивались на «ты». Баба Варя не поправляла, разве что взглядом – будто иглой прищипит.

По улицам, с детства знакомым, идем в контуру. Вон там, на небольшом пустыре, в гонялки играли. Здесь, под акацией, шалаш был. Забравшись в его прохладу, братья мои, Игорь и Генка, тайком покуривали. Затяжку-другую и меня заставляли сделать, «чтобы не продал»...

Рыжий здоровяк в кабинете председателя разглядывает нас поверх массивных очков:

– Ага, Владимир Васильевич, приехали-таки сыновья твои?

– Вот, Афанасьевич, мой старший, – с гордостью подталкивает брата отец. – Военный лётчик.

– Так-так, есть кому в небе нас защищать. Труд наш крестьянский.

Председатель цепкой клешнёй встряхивает нам руки:

– А это, стало быть, младший?

– Ну да, – отец ещё раз меня представляет, хотя я уже назывался. – Студент. Будущий зоотехник.

– Тройки есть?

– Случаются.

– М-м... да... Ты вот что, студент, с оценками выправляйся и к нам потом... к отцу приезжай. Колхозу специалисты нужны. Подумай. Бумаги... запрос там и всё остальное по месту учёбы мы сделаем.

Киваю. Почему бы и нет? Впереди четыре года

студенческой вольницы, и до работы ещё как до Луны пешком.

Председатель садится за стол, что-то чёркает на мелких листках.

– Вот, – протягивает их отцу, – Василич, я тут продукты выписал... мясо... ну и прочее там... увидишь. Сыновей подкорми. Здесь и на озеро наше вам пропуск. Рыбалку устройшь. А сейчас, извините, пора мне.

Добрый мужик... с пониманием. Турок-месхетинцев из Грузии выгнали, а он по доброте своей приютил. Нужны, мол, колхозу рабочие руки. С первым секретарём райкома, Никодимычем, в друзьях... Тот одобрил: «Мысль верная. Пусть едут!» В колхозе, однако, месхи не задержались. А вот в станице прижились. Теперь каждый пятый – турок. Лет через тридцать каждый второй будет.

Кабинет отца с председательским рядом. Просторный, с гремящим, как отбойный молоток, «кондишеном». Задняя стенка от пола до потолка – книги. Полное собрание сочинений Ленина и прочее – из той же обоймы. На столе замечаю томик стихов Есенина.

– Не расстаёшься, пап?

– Под настроение... перечитываю.

– А Ленина? Только честно.

– Честно? Не открывал сто лет. Что в основных работах его, примерно помню. Да и устарел он, с его «эмпириокритицизмами» и «рабкринями». Изучаем. А что это? Никто и не скажет теперь. Время другое... задачи... Но у каждого идеолога стоять должен. Вроде иконы. Ладно, идите домой, а я ещё поработаю. Допишу кое-что. Бабушку там смотрите... не обижайте.

– Обидишь её! Ага...

Давимся смехом. Трудный характер отцовской матери знаем с детства. Желчное красноречие её любого ножа острее.

Гостили неделю. Вечерами на столе появлялась бутылка сваренного бабушкой самогона. Выпив пару стопок, отец оживлялся. Рассказывал о военном детстве (подростком был в оккупации), о людях, знакомых по книгам и кинофильмам.

В начале шестидесятых случилось ему пообщаться с К.Н. Симоновым. Группа московских писателей выезжала тогда на полуостров Рыбачий. В Заполярном – остановка. Выступление в дощатом Доме культуры перед работниками комбината. На предложение отца отужинать в домашней обстановке «литературный генерал» откликнулся запросто. Оторвавшись от свиты, подъехал на военном уазике. С ним, кроме водителя, был Иван Алексеевич Лоскутов – Лёнька из поэмы

«Сын артиллериста». Улыбчивый, молчаливый. В форме капитана второго ранга. Сохранились фотографии.

Пили водку, закусывали грибами с картошкой. Просьбу мамы почитать стихи Константин Николаевич вежливо отклонил, переключившись на тему о молодых интересных поэтах – «Ахмадулина, к примеру, Рождественский». Об Ахмадулиной он заговаривал ещё не раз.

Напоследок мама не удержалась и прочитала «Жди меня». Сказала, что никогда не думала, что будет видеть автора этих строк так близко и что когда в войну отец её прислал эти стихи с фронта, они с мамой плакали.

– Да... это действительно... получилось... – Симонов улыбнулся. – Но нам, пожалуй, пора... Райкомовские уже на ушах, наверно.

История с актёром Олегом Анофриевым случилась следующая. В кино, для которого замечательно подходил пересечённый ландшафт окрестностей Заполярного, Анофриев должен был играть одну из главных ролей. По заданию редакции отец пришёл к нему в гостиницу взять интервью. Актёр был заметно не в духе. В состоянии, что называется, мучительном и тревожном. Разговор не клеился.

– Вы, товарищ журналист, к интервью не готовы.

– Подождите, Олег Андреевич, я сейчас.

Минут через десять отец вернулся. Благо, в Заполярном и магазины все рядом. Интервью растянулось на неделю.

Отделавшись «строгачом», отец тогда едва не лишился работы. На роль, предполагаемую для Анофриева, пригласили другого актёра. Тем и кончилось.

Много ещё разных историй было у отца в багаже. Но всё это меркнет перед сокрушительной мощью рыбалки, которую устроил он нам на колхозной «запретке».

Наживка – запаренная пшеница. Крючки здоровенные, в палец. А леска? Бельё на такой сушить – в самый раз.

Охранник вручает нам сетки-мешки:

– Вот... садки ваши... в них и улов заберёте. Подымете сколь. Председатель распорядился – не ограничивать вас. Та рыба, что через ячею уходит, – не ваша. Малёк, стало быть. А удочка у кого обломится... в вагончике у меня запас... Василич, – поворачивается к отцу, – записка-то что? Бумага. А пропуск у тебя е?

– Имеется! Факт! – усмехнувшись, отец извлекает из сумки ёмкость с мутноватой жидкостью. – Годится?

– Побачимо.

Колхозник вытягивает коричневыми зубами газетную пробку и тут же прикладывает. Занюхав лоснящимся рукавом, смачно выдыхает:

– Хе!.. Добре! Сидайте де хотите. Ты сам-то, Василич, будешь? – манит отца бутылью. – Айда! В вагончике хлеб, сало.

– Нет, Лёша. Ловить пойду.

– Ладно. Хлопцы твои пусть здесь сядут, а ты к камышу во-он тудыть. Там крупняк. Вверх, на дурняка, не тащи тока. Повдоль да к берегу его, подлеца. Зови, если что... Помогну. Подсачка у вас нет? Плохо.

...Ни до, ни после – рыбалки такой у нас не было. Тянем-потянем. Карпищи! По килограмму, по два. Без труда не осилишь. На четвертой или пятой поклёвке у Игоря хрястнула удочка. Долавливал сломанной. Отец приходил раза два. С оборванной леской. Снасть перевязывал торопливо:

– Эх, какой у меня сорвался! Поросёнок! С ходу взял! В камыш, и с концами...

От крупной сошедшей рыбы, как всякого настоящего рыбака, отца кидало в озноб.

Несколько лет назад рыбачили мы на шлюзе. Или, как местные говорили, – канале. Берега глинистые, отвесные. Жарко. Поймав по несколько карасей, отправились к колодцу попить.

Спрашиваю:

– Пап, а крупная рыба здесь есть?

– Конечно. Но эта на удочку не идёт. Матёрая.

– А размер?

– Ну, с руку мою... может, и больше.

За разговором вернулись обратно. Удилище моё как стояло, так и стоит. Бамбуковое отцово – развернуто к берегу. Подсечка!

– Зацеп, что ли?!

Но из воды вдруг показалась большая серебряная голова, а следом и весь отсвечивающий на солнце красавец. Усач! Действительно с руку. Переглянувшись с отцом, рассматривали мы его пожалуй что дольше, чем следовало. Лениво качнувшись, «матёрый» рванулся с крючка и рухнул на отмель. Отбросив удилище, отец с крутизны прыгнул вниз. Но рыба не подпустила. Хлопнув хвостом, перевалилась в канал.

– Вот что, – выбравшись, отец стал сматывать снасти, – к лешему рыбалку такую! Эх-х-х! – долгий свистящий кашель.

– А караси?

– В шлюз! Чтобы я их не видел!

Я вытряхнул карасей в бушовку.

Теперь-то расклад другой. Сетки чуть не по земле волочили – руки резало.

– О-и-и! – зашлась баба Варя. – Рыбаки-и! И что ж мы с уловом таким делать-то будё-ём?!

– Так-то, мама! В масштабах семьи продовольственный кризис в ближайшую неделю не страшен, – юмор у отца в разговоре с бабушкой осторожный. – Ванну тащите, тазы. Чистить надо. Что в переводе на флотский – шкерить. Факт!

За ужином отец расспрашивал о маме. Говорил, что отъезд его был ошибкой и что всё ещё можно поправить. Бабушка пустила слезу:

– Эх, унуки, унуки! Глупые вы, вот что... («Глупые» у неё с ударением на «ы».) Сколько прожили родители ваши?! И на тебе, на старости лет – по себе кажнй? Нехорошо. Неправильно это! Письма друг другу пишут. Чай, не чужие. Поговорили бы с мамкой. Позовёт! Так бросит он всё... вернётся!

Мы с братом молчали. Слишком уж сложно. Неборимо.

Летом 1985-го, получив диплом, я заехал к отцу.

Отец вышел мне навстречу в светлой, с коротким рукавом, рубашке. Свежевыбритый. Лицо его, однако, было серым.

Бабушка Варя, взяв за руку, повела во двор и усадила за стол.

– Что ж не предупредил-то, унучек? Лапши сейчас настрогаю. А пока вот – яишню на помидорах... с дороги. Не обессудь. Чем богаты...

Я удивился. Такое поведение было совсем не в её манере.

Она ушла. Отец сел напротив. Закурил. Предложил мне.

– Спасибо. Я бросил.

– Что бросил курить – хорошо. И не начинать лучше... – он глянул на дымящуюся сигарету, – отрав! Давай за портвейном сгоняем! Сегодня суббота... сегодня можно... – будто оправдывался.

Я кивнул.

По дороге в сельмаг отец рассказывал о новой работе. Теперь он был инструктором по ГО – гражданской обороне. Тянул до пенсии. Доярки и полеводы уносили домой со столов ножницы, клей и прочую мелочь. Этого он понять не мог. Не укладывалось. Восполнял с зарплаты. Убеждал. Тщетно. Улыбались. Кивали. Но всё-таки уносили.

В магазине взял две бутылки. Подрагивающими руками расправляя мятые рубли, рассчитывался. Невольно я содрогнулся – так нестерпимо мне вдруг стало жаль его! – родного, одинокого человека, признавшего над собой эту страшную власть. Власть алкоголя!

Дома дымящаяся лапша. Блины.

К еде отец почти не притронулся. Подливая в стаканы, курил.

– Йишь, Володька! Закусывай! – не выдержав, прикрикнула на него бабушка. «Йишь» означало «ешь».

Повернулась ко мне:

– Вот так, унук... Ты хоть повлияй на него!

– Ладно, мам, ладно. Всё нормально, – отец отодвинул тарелку. – Поговорить дайте.

Грузно переваливаясь, бабушка ушла в дом.

Он расспросил, как я закончил учёбу, что думаю делать дальше и пишет ли мне Игорь. Я отвечал... сбивчиво... грубо... с юношеским запалом... Портвейн горячил! «Сынок, как успехи?» Вспомнилось всё!

– Ты сильный... Кажется тебе, что сильный, – выслушав меня, глухо сказал отец. – Знаешь что... не спеши судить... И прости меня. Не так я прожил. Не так! Факт!

Он опустил голову.

– К матери вернуться хочу. Пить брошу. Погибаю... сам чувствую.

– Ну ведь не бросишь же, пап! Не бросишь! – от безысходности я готов был заплакать.

Но неожиданно заплакал отец. Жёлтыми нечеловеческими слезами. Я отпрянул. Жёлтые слёзы! – метафора... книжность... Вытерев глаза тыльной стороной ладони, он посмотрел сквозь меня:

– Завтра же ей напишу. Люблю её, слышишь! Только её и любил! Помоги мне, сынок... помоги...

– Хорошо, – убеждать его в чём-то не было смысла.

Дорогой до автостанции отец шёл молча. Бабушка Варя семенила сбоку. Хватала за руки. Разворачивала к себе:

– Отца не забывай! Не оставляй! Эх-х!.. Ты же видишь – творится что!

Не помню её такой. Не видел ни разу.

– Идите домой, мама, – сжал зубы отец. – Не надо!

У шоссе бабушка ткнулась в плечо мне мокрой щекой и отстала.

Автобуса долго не было. Когда он подошёл, отец закурил. Мы обнялись.

– Держись, сынок... – сказал мне отец.

Последнее, что он сказал мне.



Олег Владимирович ВОРОПАЕВ

родился в 1963 году в г. Заполярном Мурманской области.

Окончил сельскохозяйственный факультет ПетрГУ.

Работал зоотехником в хозяйствах Мурманской области и Карелии,

преподавал биологию в школе.

С 1994 года офицер милиции.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике.

В настоящее время проживает на Ставрополье.

Публиковался в центральных и региональных периодических изданиях.

Автор нескольких книг стихов и прозы.

Член Союза писателей России.

